

Фантазии женщины средних лет

«Лучший роман года».

Независимая газета



Анатолий Тосс

Анатолий Тосс

Фантазии женщины средних лет

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130047

Фантазии женщины средних лет: Роман / А. Тосс.: Компания Элиот;

Москва; 2012

ISBN 978-5-905356-02-5

Аннотация

Одинокая женщина в пустом доме, в глуши, на берегу океана. Что заставило ее приехать сюда? Что тревожит ее, мучает кошмарами, лишает сна? Ее прошлое!

Да и как иначе, если трое самых близких мужчин в ее жизни, те, кого она только и любила, погибли один за другим, и именно тогда, когда они были ей нужны больше всего. И она виновата в их смерти!

Виновата ли?! Погибли ли?! И как во всем разобраться?! Но надо, очень надо, потому что от этого зависит ее жизнь.

А тут еще старая книга, найденная в доме, и необычные, странные рассказы в ней, которые что-то навевают, подсказывают... Но что?!

В «Фантазиях...» (книге, ставшей бестселлером во многих странах мира) мастерски перемешались и

психологический триллер, и любовная драма, пронизанная предельно откровенными, но до целомудренности эстетичными эротическими описаниями. А кроме того, и тонкие философские размышления, и детективный сюжет, и просто чуткие, понятные всем жизненные переживания. Ну и конечно, концовка, которую невозможно предугадать и которая не может не ошеломить.

Именно поэтому «Рэдиан ревью» утверждает: «Любой, кто старше восемнадцати, должен, просто обязан прочитать “Фантазии...”».

Книга представлена в новой авторской редакции.

Содержание

Часть первая	5
193	17
187	21
77	59
141	80
95	131
311	166
Конец ознакомительного фрагмента.	168

Анатолий Тосс

Фантазии женщины

средних лет

Посвящается М. Д.

Часть первая

Мне нравится это ощущение. Я чувствую себя странно неуклюжей, неуклюжей до несуразности, мне кажется, что части моего тела, всегда такие слаженные, всегда так ловко взаимодействующие друг с другом, сейчас подменены новыми, непривычными и непритертыми.

Я запахиваю куртку, мне не то чтобы холодно: сырой, осенний и оттого тягучий воздух легко проходит сквозь одежду, и... какое же было хорошее слово? Я закрываю ладонями лицо, пытаюсь сосредоточиться, какое же было слово... Это все лес, я так и не открываю глаза, это все он бесчисленными своими отростками, всеми этими переплетенными листьями, ветками и корнями рассеял меня, пытаюсь подчинить, чтобы потом, подчиненную и подавленную, незаметно прибрать, присоединить к своей бесконечной системе.

«Промозглый», неожиданно выстреливает потерянное

слово. Конечно, промозглый, все здесь промозглое: и воздух, и непрерывная сырая жухлость под ногами, и поскрипывающее покачивание деревьев, и сам этот осенний лес, и я, и мысли мои. Мне нравится это слово, оно из тех, что звучит именно так, как и чувствуется, в самом его звуковом построении уже живет сырость и зябкость, и я повторяю его про себя, смакуя: «промозглость, промозглый, промозглая». Я еще плотнее закутываюсь в куртку и, засунув руки глубоко в карманы, чтобы удержать последнее оставшееся внутри меня тепло, бреду в сторону дома, неосторожно ступая ботинками по зыбкой, чавкающей поросли под ногами.

Я вновь вспоминаю сон, который приснился мне ночью. Он настойчивый, он снится мне уже давно, всегда немного разный, но я снова и снова просыпаюсь в поту и в слезах и не могу справиться с дрожью. Так случилось и сегодня, может быть, именно поэтому меня знобит сейчас, просто озноб не прошел с того момента, как я открыла глаза, а сон еще витал надо мной, не успев раствориться.

Все началось с того, что я стояла перед окном в большой комнате и смотрела на опускающееся в океан солнце. Томительная красота заката приковывала взгляд, но я почему-то обернулась, в дверном проеме стоял Стив, небрежно прислонившись к косяку. Я сразу узнала его по подчеркнuto расслабленной позе, по насмешливой улыбке, а когда сделала шаг вперед – по шальным, смеющимся глазам. Он оттолк-

нул плечом от косяка, движение было таким же вызывающе расслабленным, немного ленивым, и шагнул навстречу. Теперь он стоял так близко, что я слышала его дыхание, оно щекотало мне щеку.

– Ты как? – спросил он. Я кивнула, стараясь получше разглядеть его. – Да, Джеки, давно мы не были в этом доме. Много лет прошло.

– Много лет, – согласилась я.

– Мы были счастливы, помнишь? – Он сделал еще один шаг в мою сторону.

– Не надо, – сказала я, пытаюсь отстраниться, прикрываясь от него рукой, но он перехватил ее и сжал, я даже почувствовала боль, и повернул к себе, лицом к лицу, дыхание к дыханию.

– Почему не надо? – Его прерывистый голос, казалось, волновался, но я знала это притворное волнение, оно таило в себе скрытый подвох. – Я поцелую тебя. Тебе понравится. Тебе ведь всегда нравилось. Да?

Он издевался, я знала это, он отлично понимал, что я не могу отказать. Поэтому и спросил, поэтому и улыбался. Ноги не слушались меня, я не могла стоять, я и не стояла, это он держал меня. Потом я почувствовала касание его губ, их запах и вкус – все одновременно. Я все ждала, когда он вберет меня своим ртом, сомнет, скомкает, но ощутила только касание, легкое, дразнящее касание.

– Пойдем, – выдохнула я и сама потянула его за руку, –

пойдем, я не могу больше.

Но он не двигался, он смотрел на меня и улыбался уголками губ.

– Конечно, – согласился он, – у тебя ведь давно никого не было. Конечно, ты не можешь больше ждать. Ведь так?

– Да, у меня давно никого не было, очень давно. Но дольше всего у меня не было тебя.

Мне не следовало так говорить, но я сама не ведала, что произносят мои онемевшие губы. Теперь он засмеялся, я знала, что этот смех не к добру, и не верила ему, в нем было больше издевки, чем веселья. Я попыталась вырваться, но Стив держал меня слишком крепко.

– Ну конечно, – он просто хохотал мне в лицо, – как я мог быть у тебя, когда последнее время, я бы сказал, достаточно длительное время, меня как бы и нет. Да и как я могу быть, если ты убила меня. Слушай, я так и не понял: зачем? Зачем ты убила меня?

– Нет! – Я закричала, пытаюсь прорваться сквозь его смех, сквозь его слова, сквозь его руки, что так крепко держали меня.

– Конечно, да. – Он был спокоен и весел, как будто живой. – Конечно, убила. И не вырывайся, я все равно не отпущу тебя, никогда не отпущу.

Я затихла на мгновение, и, может быть, поэтому он выдержал паузу, тоже на мгновение.

– Ну ладно, убила меня. – Теперь он не смеялся, голос

стал сухим и серьезным, а смех отступил в глаза. — Ну ладно меня, я отчасти сам того хотел, но зачем ты этого красавчика убила? Как его звали? Дино, кажется. Ведь он любил тебя преданной, совершенно беззащитной любовью. Он вообще ни в чем не был виноват...

— Пусти. — Я снова попыталась закричать, но слезы захлестывали лицо, и еще эта дрожь. — Отпусти меня, я никого не убивала, ты знаешь, что не убивала.

— Конечно, убивала! Всех, кого ты любила, абсолютно всех. И еще этого, как его, я забыл имя, которому все было нипочем, лихой такой. — Он снова хохотнул. — Его, наверное, непросто было, но ты это здорово сделала, мастерски, ты просто мастер, я в каком-то смысле даже горжусь тобой. — Глаза Стива просто сияли смехом, излучали его.

— Зачем ты так? — простонала я. — Ты же знаешь, что это не так. Ты же все знаешь! — Мое тело уже не просто дрожало, а билось. «Как в конвульсиях, — подумала я, — как в эпилепсии».

— Конечно, знаю, поэтому и говорю.

— Нет, неправда, все это неправда. Уйди, я ничего не хочу я ничего не могу сейчас... — я снова сбилась, — ...ведь ты знаешь, что все не так...

— Дай я поцелую тебя еще раз, последний. — Его голос скрывал хитрость, хитрость и издевку.

— Нет, я не хочу! Я не хочу пусти меня! Я не убивала, слышишь, никого не убивала!

– Да ладно тебе, убивала, не убивала. Какое это теперь имеет значение? Ведь никто не знает. Только ты и я, больше никто, а я никому не расскажу. – Стив снова брызнул смехом. – Потому что, – он наклонился ко мне совсем близко и прошептал: – Потому что я мертвый, ты же убила меня. – А потом быстро почти без перехода: – Да ладно, дай губы, ты же хотела, ведь только что хотела.

– Нет, – кричала я, – нет!

А потом мне стало нечем дышать, я начала задыхаться, видимо от слез, и открыла глаза. Я лежала мокрая, дрожа от ознобного холода, мне требовалось время, чтобы понять, что это всего лишь видение, еще один сон. Мне нужно было, чтобы свет утра, и тишина комнаты, и ее покой заполнили меня и вытеснили, насколько возможно, зыбкий ночной кошмар.

Может быть, я зря приехала сюда, думаю я, отыскивая взглядом в траве заросшую тропинку, ведущую к дому. Я прожила здесь почти три недели, а эти ужасные сны хоть и стали реже, но не покинули меня совсем. Это врачи советовали мне оторваться от преследующего меня мира, уехать куда-нибудь в глушь, туда, где бы меня никто не беспокоил. Они называли это реабилитационным периодом и говорили, что мне это необходимо, что так я быстрее поправлюсь.

Именно тогда я вспомнила об этом доме в лесу. Впрочем, я никогда и не забывала о нем, он и раньше, много лет назад,

когда я приезжала сюда со Стивом, был привязан ко мне всеми своими шорохами, он, как заботливый дедушка, голубил и ласкал меня, укутывая теплом и несуетным уютом. Старый и сам дремучий, как лес, подступающий к нему, и незыблемый, как океан под ним, этот дом любил лелеять беззаботную, веселую девочку, видимо, она развлекала и омолаживала его, и я знала, даже теперь, по прошествии стольких лет, он помнит обо мне и примет. Я стала наводить справки, я боялась, что кто-то мог поселиться в нем, но мне повезло, дом по-прежнему пустовал. И я сняла его.

Вот так и случилось, что я прилетела в Мэйн. Меня встречала машина, и шофер пытался разговориться со мной во время долгой дороги, а потом, когда мы приехали, достал из багажника чемоданы. Он предложил внести их в дом, но я отказалась: мне хотелось, чтобы он быстрее уехал, я хотела остаться одна.

Дом принял меня, как и обещал, я чувствовала себя спокойно и непривычно уравновешенно, как очень давно не чувствовала. Просыпалась я с рассветом, когда он наполнял спальню душистыми и ароматными лучами, тут же проникая в темно-медовые бревенчатые стены, и растворялся в них, придавая им, да и всему воздуху вокруг, нежно-янтарный отблеск. Я сразу вставала, ожившая и свежая, и, набросив теплый халат и заварив чай, спешила на веранду, нависающую над океаном.

Плетеное кресло-качалка ожидало меня, солнце, притуп-

ленное утренней осенней дымкой, поднималось за спиной, подкрашивая уже не такие стальные и не такие белесые наплывы океана. Я могла сидеть долго, даже после того, как мое тело уже полностью покидало постельное, сонное тепло; мое кресло мерно поскрипывало подо мной, и слух мой, и взгляд, и сознание были расслаблены и успокоены.

Потом, когда мой халат начинал пропускать осеннюю утреннюю свежесть, я шла завтракать. На второй день после приезда я на удивление легко нашла дорогу на ферму, о которой помнила еще со старых времен, и договорилась с хозяином, что раз в три дня он будет привозить мне молоко, сыр, помидоры, хлеб и еще что-нибудь, такое же простое и вкусное.

После завтрака я лениво натягивала непривычно толстые штаны и такую же обувь и шла на прогулку в лес. Это был осенний лес и по цвету, и по запаху, вернее запахам, разным, но всегда сырым, даже если стоял солнечный день. Из всех особо выделялся запах грибов, густой и липкий. Я пыталась найти подходящее для него слово, но ни «пряный», ни «горький» не подходило, и я перестала искать и стала думать о нем просто как о запахе: какая разница какой, он все равно кружил мне голову.

Опьяненная, я возвращалась домой, и засыпала прямо на диване под убаюкивающее тиканье стенных часов, и так же легко просыпалась, не утомленная и не разбитая, как обычно бывает от дневного сна. Потом я готовила себе нехитрый

обед и ела с удовольствием, а закончив, снова выходила на веранду. Обычно к этому времени солнце уже жалось ближе к воде, я знала: еще часа два, и оно начнет трогать воду своим нижним краем и потом попытается растворить ее в себе, но само увязнет в океанской гуще, и океан одолеет и поглотит солнце, пускай всего лишь на ночь, но поглотит.

Я брала с собой книгу, в доме нашлось несколько книг, разных и по жанру, и по содержанию, совпадающих, впрочем, только в беспечном желании меня развлечь. Я вынимала их из старого шкафа, в незапертой двери которого зачем-то торчал ключ; я все равно не могла провернуть насквозь проржавевший замок.

Я читала до тех пор, пока сумерки не опускались сначала на веранду, затем на меня, и лишь потом океан испускал свой последний, почти что предсмертный отблеск и тоже погружался во мрак. Я еще сидела какое-то время не двигаясь, пытаясь по звукам угадать, изменились ли формы океанского движения, и лишь убедившись, что нет, темнота не нарушила ничего, я поднималась и уходила в тепло дома, оставляя на веранде одиноко раскачивающееся под ветром кресло.

Спать я ложилась рано, и нежная прохлада постельного белья, которое я привезла с собой, ласкала кожу, я гасила свет, и еще какое-то время воздушные звуки ночного леса за окном удерживали мое сознание, но потом темнота съедала и их.

Постепенно размеренность и успокоенность дня стали

проникать в меня, я действительно чувствовала себя лучше, если бы только не эти сны. Полные страшной, пусть и искаженной правды, они не отпускали меня, захватывая в ночи легко уязвимую, и я просыпалась, дрожащая и мокрая от слез кошмара. Я лежала с открытыми глазами, бездумно направленными в потолок, и тогда мне казалось, что ничего на свете, даже этот дом, не в силах вырвать меня из пропасти удушающего прошлого.

Я возвращаюсь домой и, как всегда, по заведенному правилу, хотя какие здесь могут быть правила, скорее потребности, сладко засыпаю. Проснувшись, встаю и подхожу к книжному шкафу. В его темной стеклянной дверце (мне чудится, что и само стекло вместе с деревом потемнело от времени) отражается мое худое, чуть удлинненное лицо, с широким лбом и высокими скулами, еще больше подчеркнутыми ореолом небрежно разбросанных, чуть волнистых волос. Прозрачное стекло в книжном шкафу – это не реалистичная амальгама зеркала, его изображение туманно и ненадежно, оно перемешано с чем-то другим, что за стеклом, а может быть, и в нем самом, в его замутненной толще. Оно лишь очерчивает контурами, как отражение на воде, и кажется, проведи по стеклу рукой, и изображение мое будет смыто, рассеяно, как, может быть, буду смыта и рассеяна я сама.

Только вчера я закончила очередную книгу, и сейчас мне надо подыскать что-нибудь новое. Мне все равно что, у меня нет предпочтений, чтение для меня сейчас больше связано с

созерцанием, оно – всего лишь ритуал, ежедневная незамеченная рутина, оно вошло в мою трехнедельную потребность, как океан, как этот лес, как дом.

Я с удивлением разглядываю тесный ряд книг, выстроившийся на полке, – неужели я прочитала их все? Мне сложно поверить в это еще и потому, что я отвыкла доверять взгляду, и я поднимаю руку и прохожу пальцами, перебирая каждый переплет в отдельности.

«Ах, как обидно, – шепчу я себе, – ведь я не могу не читать. Не может быть, чтобы в этом большом доме было так мало книг».

Пока я шепчу, я открываю все возможные ящички и тумбочки, все дверцы и крышки, и ничего нигде, даже журнала, даже старой газеты. Я останавливаюсь посередине комнаты. «Где же еще искать? – Я даже думаю суетливо, лихорадочно и суетливо. – Может быть, посмотреть в подвале? – говорю я себе и тут же соглашаюсь: – Конечно, надо посмотреть в подвале».

Подвал, как и любой подвал, полон рухляди и ненужных, неуклюжих предметов. Но сейчас мне нужна книга, и я снова начинаю рыскать в завалах полуразрушенной мебели, пытаясь в окаменевших от времени зарослях паутины, вдыхая гниловатый запах застоявшегося подвального воздуха. Я все же нахожу ее, лежащую на старой, покосившейся полке, и, вознагражденная, поднимаюсь назад к свету, машинально протирая от пыли потрепанный корешок.

Видимо, поиск занял много времени, солнце уже опустилось, оставив мне всего два часа дневного света, и я спешу к моей океанской качалке, она уже заждалась меня, одинокая и недвижимая, на веранде. Я сажусь, отдавая себя ее ритмичному колебанию. Со стороны, наверное, это похоже на сцену из мелодрамы: загадочная, красивая женщина смотрит на заходящее в океан солнце в предвкушении непредвиденной, но, по правилам игры, неизбежной романтической встречи.

А что, думаю я, все совпадает – и загадочная, и, чего уж там стесняться, красивая. И закат на месте. Вот только встречи не произойдет, встреча не вошла в сценарий, для нее не нашлось героя.

Не надо об этом, прерываю я себя и заставляю замороженный взгляд оторваться от распростертого океана. «Распростертый, простираться, прострация», – продолжаю я перебирать слова, открывая книгу.

Это странная книга, я только сейчас заметила. Она самодельно переплетена коленкоровой обложкой и напечатана не то на пишущей машинке, не то на компьютерном принтере. На раскрытой странице – две главы, и каждая из них пронумерована трехзначным числом. Я перелистываю несколько страниц, там тоже пронумерованные главы, даже не главы, догадываюсь я, скорее не связанные друг с другом параграфы. Но мне все равно, параграфы так параграфы, номера так номера, какая разница, к тому же глаза мои уже нацелились на какой-то случайный номер.

Я захожу в антикварную лавку и протягиваю ее владельцу который сам похож на побитое молюю покрывало, свое прошедшее, прожитое время.

– Э...э, – кряхтит и причмокивает он, – уж больно ваше прошлое потрепано и обветшало, смотрите, здесь даже прожжено чем-то. Вы что, курите?

Он вскидывает на меня неожиданно пронзительный взгляд, острый, как и треснутые стекла съехавших на его бугристый нос очков. Я молчу.

– А здесь, – он так и не дождался ответа, и в его движениях вновь появляется цепкая деловитость, – смотрите, все в складках, в морщинах, хотя бы прогладили перед тем, как приносить. А тут, – теперь он трет загрубевшими пальцами тонкую поверхность, – сами смотрите, совсем протерлось.

Он еще говорит что-то, но я не слушаю, я понимаю, что он выжидает, подводя меня к главному.

– Я не могу вам много за него дать, – насупившись, наконец говорит он.

– Да, – соглашаюсь я. Мне не хочется спорить, принесенное мною время действительно не ахти, могло бы быть и лучше. К тому же я не знаю, что именно старик собирается дать мне взамен.

– Нет, – убежденно проговаривает антикварщик, удивлен-

ный и даже, кажется, разочарованный моим быстрым согласием, и как бы по инерции продолжая уговаривать: – Много дать я вам не могу. Вот если бы ваше время было в таком же идеальном состоянии, как у того господина.

И он указывает на мужчину, который осторожно роется в груди забытого старья, стараясь не испачкать черные, как мне показалось, лакированные, перчатки. У него гладко выбритое, худое, бледное лицо с узким, длинным ртом. На нем черная накидка, белая, с жабо рубашка, цилиндр, который, заметив мой взгляд, он учтиво приподнял.

– Вот если бы ваше время было такое же, – продолжает старьевщик, – ровное, гладенькое и аккуратное, почти не тронутое, тогда... А так, к сожалению, не могу.

Я по-прежнему не понимаю, о чем говорит старик, и, хотя мне неловко за свое невежество, все же спрашиваю:

– А что, простите, я получу взамен?

Лавочник непонимающе смотрит на меня.

– Как что? Новое время, – и видя, что я так до конца и не понял, поясняет, терпеливо, как ребенку: – Взамен вы получите новое время.

– Простите. – Я улыбаюсь, чтобы смягчить неловкость. – Что вы имеете в виду? Что значит «новое время»?

Мой собеседник смотрит на меня с досадой.

– Вы что, в первый раз? Вы получите ваше новое время, иными словами, свое будущее.

Я все еще не понимаю.

– Но это же антикварная лавка! Откуда у вас новое?

Старик прищуренно улыбается, вздыхает и говорит, сморщив и так морщинистый лоб:

– Я же сказал «ваше новое», но это не означает, что оно вообще абсолютно новое. Оно вполне может быть чьим-то старым. Видите ли, чье-то старое является чьим-то новым, и наоборот. – И, так как это звучит неясно, добавляет: – К тому же мы всегда его реставрируем, так что оно выглядит как новое. Вы и не заметите разницы...

Мой взгляд отрывается от листа и переходит на воду. «Что это я читаю? Что за пустое, нелепое умничанье? – Я чувствую, что начинаю нервничать. – Какой больной все это написал, аккуратненько напечатал и даже переплел?

И не лень печатать-то было? Надо же, есть люди! Что же это за странная книга такая? Неужели она вся состоит из нудных, ненужных, но требующих внимания рассуждений?» Я снова перелистываю несколько страниц, похоже, что везде одни и те же параграфы и номера.

Я смотрю на океан, он не такой, как эта книга: он не мелочный, он без параграфов, без номеров и без мелких разрозненных мыслей, он один, неделимый и нenumerуемый, он ни в чем не пытается разобраться и ничего не расставляет по местам. Он цельный и целостный, и в нем есть мысль, но она одна, необъятная и непостижимая, не требующая концентрации. Она вообще ничего не требует, потому что вечна,

и оттого океан накатывает и накатывает, и так будет всегда.

Во мне поднимается раздражение к книге, может быть потому, что она так очевидно уступает океану. Но и другие тоже уступали, не понимаю я и тут же отвечаю: но они и не пытались соперничать, а эта мельтешит и пробует напрячься, но до чего же она смешна своими безнадежными потугами. Я смотрю в океан, вглядываюсь долго, пристально, и он постепенно сглаживает мое возбуждение. Я еще сижу какое-то время, всматриваясь в него, а потом, скорее по инерции, снова опускаю голову и так же по инерции останавливаюсь взглядом на другом нумерованном параграфе.

Однажды я отправился с двумя моими приятелями на воскресный ланч. Ресторан порекомендовал я, предупредив заранее, что еда там средняя, зато по выходным выступают музыканты и играют либо легкий джаз, либо что-нибудь более классическое. Мои товарищи согласились, и мы зашли и сели за аккуратный столик подальше от маленькой сцены, чтобы музыка не мешала разговору.

На сцене находились двое. Женщина средних лет с неаккуратно подобранными седеющими волосами сидела за пианино, другая, со скрипкой, почти девочка, нескладная и смущенная, стояла возле старшей напарницы. Было очевидно, что для девчушки выступление перед неприхотливой ресторанной публикой было в новинку, и она нервничала, как нервничает любой, делая что-то в первый раз. От этого ее неловкость и угловатость еще отчетливее проступали наружу, она выглядела почти комично; худенькая, с резкими выступами плечей и бедер, она пристраивала скрипочку под подбородком, ожидая сигнала более уверенной партнерши. Бесцветные, белесые волосы спадали девочке на лицо, и она пыталась убрать их назад неловким движением руки, держащей смычок. Волосы не слушались, и по-прежнему выбивающаяся прядь добавляла свою бесцветность и белесость к ее и так скучному, невыразительному лицу.

Наконец они начали играть. Пианино вело, скрипка пыталась поспеть, но зачастую ей это не удавалось, и она запаздывала. Я не знаток в музыке, но даже мне было понятно, что то ли от волнения, то ли от неумения моя девочка играла неправильно, где-то спотыкалась, где-то путалась, часто сбивалась. Впрочем, в зале это никого не тревожило: люди были доброжелательны к любым творческим потугам, к тому же музыка была здесь лишь фоном, рождающим приятную атмосферу для еды и разговора. Я тоже увлекся каким-то обсуждением и перестал замечать и музыку, и двух женщин, ее создающих.

Но обсуждение закончилось, и разговору нашему потребовалась передышка. Товарищи мои откинулись на своих креслах, повернулись и стали смотреть на сцену, скорее чтобы заполнить перерыв перед следующей темой, чем из интереса к двум музыкантам. Я тоже облокотился на спинку кресла и, не ожидая увидеть ничего интересного, перевел взгляд туда, откуда исходила музыка. Но то, что я увидел, поразило меня и заставило напрячь зрение, чтобы внимательнее взглядеться в лицо моей скрипачки.

Это было другое лицо, да и сама девочка была другая, совсем не та, что я видел десять минут назад. Ее закрытые глаза лишь подрагивали ресницами, иногда она закусывала нижнюю губу, но потом отпускала ее, и тогда можно было различить лихорадочную, потустороннюю улыбку. Когда же в лице накапливалось слишком много муки, она перехватыва-

ла ровными зубами верхнюю губу, сдавливая ее до очевидной боли, сознательной, умышленной, мазохистской. В такие моменты лобик девочки то морщился, то распрямлялся, он казался пронзенным мыслью, но мыслью не логической, а скорее предвкушаемой, скорее догадкой. Ее ноздри порывисто раздувались, как будто от беспокойства, от волнения, но она не волновалась, я видел, что она уже не волнуется. Она переступала с ноги на ногу, и от этого требовательного, нетерпеливого движения бедра ее чуть шевелились, выдаваясь поочередно вбок, и, наверное, поэтому, а может быть, от чего-то еще более неуловимого все ее тело вдруг приобрело округлость и освободилось от растерянной угловатости. Иногда скрипачка чуть заметно приседала, пружиня на ногах, одетых в плоские, легкие туфельки, и в этот момент ее лицо еще больше обострялось и на нем выступали мука и счастье.

Я забыл о том, что она играет, я не слышал скрипки, музыка была сейчас лишней, ненужной, она так явно уступала зрительной картине, что я подумал: «Ах, если бы не скрипка в ее худых, длинных, гибких руках, если бы не было скрипки, я бы точно знал, что она, эта маленькая, худенькая, неумелая девочка, сейчас занимается любовью, и только ей отдана, и только ей покорилась».

Друзья мои, до этого сидевшие спинами к сцене и не имевшие возможности разглядывать исполнительниц, как это беззастенчиво делал я, понимающе переглянулись и со

мной, и друг с другом. «Хорошая девочка», – произнес один из них.

И тут я понял, понял отчетливо и ясно то, что так долго и так много раз, может быть, лишь чувствовал: самое притягивающее, самое возбуждающее в женщине – это движение ее души...

Я ощущаю непривычную, давно позабытую улыбку на своих губах. Когда она появилась, в самом начале или под конец чтения? – я и не заметила, но этот рассказ мне понравился куда как больше, чем тот, до него. Я поднимаю глаза, по океану бежит яркая дорожка, бежит прямо ко мне, так низко нависло над горизонтом солнце. Я хочу разглядеть цвет протянувшейся ко мне нити, но не могу: она слишком яркая, а яркость заглушает цвета.

Тогда, много лет назад, я тоже, наверное, походила на девочку из рассказа, я тоже иногда выглядела смущенной и неуверенной, а подчас и смешной. Правда, я не была бледной и скучной, а скорее яркой и каштановой, почти рыжей. На меня всегда обращали внимание мужчины, даже когда я еще училась в школе, что-то, видимо, притягивало их ко мне. Стив говорил, что в хрупкости моей фигуры скрыта особая внутренняя развращенность, не осязаемая взглядом, но от этого еще более притягивающая. «Но развращенность эта, – говорил он, – лишь в деталях, в едва различимом намеке те-

ла и в сочетании с твоим невинным взглядом и застенчивым голосом создает противоречие. А именно противоречия как раз и привлекают».

Видимо, он сразу это определил, еще там, в кино, когда увидел меня в первый раз в полумраке, разбавленном расплывчатым светом кинопрожектора. В тот раз я сбежала с занятий в университете и пошла на дневной сеанс. Я так делала иногда, для меня это являлось символом беспредельной счастливой беззаботности – дневной сеанс в кино в рабочий день, когда все, как пчелки, на работе и в делах, а я из суетливого дня погружаюсь в мягкий, мохнатый мрак кинотеатра.

В полупустом зале находилось всего человек двадцать таких же явных бездельников, как и я, и поэтому я удивилась, когда парочка, парень с девушкой, сели через сиденье от меня: не было причины садиться так близко, когда пустовали целые ряды. Я посмотрела на них, кто эти бестактные кретины? Если честно, я хотела встать и пересесть, но в этот момент парень, сидевший с моей стороны, повернул лицо ко мне, поймал мой взгляд и улыбнулся. Вроде бы только улыбнулся, но то ли из-за полумрака, то ли из-за чего-то другого, чего я не могла понять, его улыбка показалась мне странной, завораживающе странной, и, сама не зная почему, я не пересела, а сняла куртку и положила ее на свободное место, отделявшее меня от навязчивого соседа со странным взглядом, – все же разделительный барьер.

Фильм начался, я не помню ни его содержания, ни названия, помню только, что длился он долго. Где-то в середине картины мне захотелось жевательной резинки, она лежала в куртке, и, не отрывая взгляда от экрана, я протянула руку и стала шарить, пытаясь нащупать прорезь кармана. Я легко нашла ее, но в кармане жвачки не оказалось, видимо, она находилась в другом кармане, и, когда я потянулась чуть дальше, все мое тело вздрогнуло, а сердце на мгновение оборвалось, скорее от неожиданности, чем от скользящего, ласкающего прикосновения.

Я обернулась, он смотрел на меня, даже в темноте я поняла – прямо в глаза, и опять улыбался лишь одними уголками губ. Его пальцы самыми своими кончиками трогали внутреннюю сторону моей руки, чуть выше запястья, и я в одно мгновение ощутила замкнутость цепи: он входил в меня взглядом, проходил через тело и возвращался назад через наше касание, чтобы снова войти в меня, уже с большей силой. Я ожидала, что он что-то скажет, так он доверительно смотрел на меня, как будто знал вечность. Он должен был что-то сказать, он не мог просто молчать и гладить меня, слова были единственным возможным продолжением, но он молчал.

Мы смотрели друг на друга, не знаю, как долго: минуту, пять, мне потребовалось время, чтобы в полумраке различить его взгляд – шальной, наглый, дразнящий, он блеснул, прорезая темноту, но в то же время успокаивал, мол, именно

так и надо, чтобы я трогал тебя, так и должно быть. А потом он отвернулся, просто взял да отвернулся, не отрывая, однако, руки от моей ладони, по-прежнему поглаживая ее. Только тогда, когда я различила его профиль, немного резкий в контуре, я вспомнила, что он не один, а с девушкой. Я хотела рассмотреть ее и даже наклонилась вперед, но ее голова покоилась на его плече, я только видела руку с длинными красивыми пальцами, она щепотками набирала вздутую кукурузу из высокого стаканчика. Видимо, девушке, отвлеченной фильмом и кукурузой, рука партнера, лежащая поверх моей ладони, была не видна, так же, как и мне не было видно ее лица.

Он продолжал гладить мою ладонь, забегая иногда выше, почти к локтю, и, сама не знаю почему, я не убирала руки, так сильно я чувствовала эти прикосновения. В них не было ни нервозности, ни спешки, наоборот, что-то успокаивающее, будто они увещевали, что не надо торопиться, что впереди еще много времени, что все еще только начинается.

Сколько так продолжалось? Долго. Иногда я бросала взгляд на него, когда же он смотрел на меня, мне казалось, что сейчас он наклонится ко мне и скажет что-то, хотя бы свое имя, но он только улыбался все так же заговорщицки, как будто только мы могли разделить нашу тайну. А ведь так и было на самом деле: тайна существовала, и только мы знали о ней. Потом я заметила, что другой рукой он обнимает свою спутницу, и когда я поняла это, то инстинктивно по-

пыталась отдернуть руку. Но либо я оказалась не слишком упорна, либо он ожидал этого, только его пальцы вдруг обрели твердость и несильно, но настойчиво сжали мои, и держали так, пока они не затихли.

Я больше не пыталась вырвать руку, почему я должна была делать то, что не хотела? Я не убрала руки даже после того, как он опять посмотрел на меня своими веселыми глазами, как будто приглашая подключиться к какой-то захватывающей и даже опасной игре, а потом, я хорошо это видела, очень медленно, как бы демонстративно, чтобы я не упустила ни одной детали, другой рукой притянул свою девушку, пригнул ее к себе, почти развернув ее лицо к своему, так, что я теперь разглядела их обоих, и медленно, долго выбирая место, выбрал наконец ее губы. Он именно «выбрал» их, настолько тягучий, надсадный был этот затянувшийся поцелуй, я не могла оторвать от него взгляда, я видела каждую деталь.

Я видела, несмотря на темноту, как раздавленно смялся ее красивый рот, как ходили ее щеки, вбирая и выпуская из себя его губы. В какой-то момент они оторвались друг от друга, и я заметила их соединенные в противоборстве языки, но только на мгновение, потому что губы тут же соединились вновь. Потом я услышала ее дыхание, это точно было женское дыхание, нервное, прерывистое, с трудом сдерживающее вздох, и именно в эту секунду я поняла, что моя рука, о которой я почти забыла на время, по-прежнему находится в

его и он все так же то гладит, то сжимает ее. Я почувствовала ожог, ожог внутри, где-то на уровне легких, как будто глотнула кислоты или ядовитых паров. Мне послышалось, что мое дыхание, такое же сбитое и неровное, присоединилось к ее дыханию, и я боялась, что либо она, либо он услышат его.

Потом он наконец отпустил ее, и некоторое время она, чуть отстранясь, смотрела на него, и животное желание, таящееся в ее взгляде, заворожило меня своим откровенным призывом. Теперь я разглядела ее. Чего там, она была интересная, с крепким, раскрытым женским телом, таким, которое, я знала, обычно привлекает мужчин; я всегда могла оценить женщину, я никогда не испытывала зависти даже к самым красивым, я все равно смотрела свысока, ну, может быть, в редких случаях с равной высоты. Она все не могла оторваться от него, хотя в принципе ей ничего не стоило повернуть голову и посмотреть на наши соединенные руки. Я вдруг почувствовала непонятный веселый восторг: что произойдет, если она увидит их, как он выкрутится из этой ситуации? Но она не повернула головы, она вообще, видимо, ничего и никого не замечала, кроме него, а потом он мягко развернул ее, и она снова положила голову на его плечо.

Через пару минут он опять повернулся ко мне, у меня все еще сдавливало дыхание, и он опять смотрел на меня и гладил мою руку, перехватывая ее пальцами. Я знала, что моя ладонь вспотела, мне хотелось вытереть ее, чтобы он не заметил влажности, но для этого надо было освободить руку,

хотя бы на секунду, а я не могла. А потом он прошептал что-то, что-то важное, я поняла это, хотя не услышала звука, я видела только, как шевелились его губы, я хотела, чтобы он повторил, я даже подняла брови в вопросительном ожидании, но он молчал. Сейчас-то мне понятно, специально молчал, а потом опять отвернулся.

Фильм подходил к концу. Он шел долго, этот фильм, часа два с половиной, моя рука устала и начала затекать, а я все думала, что будет дальше: нужно ли мне что-либо предпринимать, и если нужно, то сейчас или позже, когда фильм закончится. Я так ничего и не решила, видимо, мне хотелось, чтобы он сам вышел из этого смешного положения, но, когда пошли длинные титры и зажгли свет, он внезапно выпустил мою руку, так что стало непривычно и холодно после его тепла, затем быстро поднялся и пропустил свою девушку вперед. Я лишь успела заметить, что она почти одного с ним роста, уже в проходе он помог ей надеть короткое пальто, на улице была осень, и пошел к выходу, так ни разу не посмотрев на меня, даже мимоходом.

Как я себя чувствовала, когда он ушел? Стало ли мне обидно, что он даже не оглянулся? Наверное, но если и стало, то ненадолго. Потому что вскоре, почти сразу, остановившись рассеянным взглядом на размытых от включенного света строчках бегущих титров, я почувствовала радость. Я поняла, что пережила приключение, пусть маленькое, пусть не опасное, но волнующее, которое я запомню надолго, по-

тому что оно было единственным в своем роде.

Я вышла на улицу, уже смеркалось: все же осень укоротила день. Мне не хотелось домой, мне по-прежнему было радостно, но радость моя была неспешная, задумчивая, как и природа, осенняя. Мне нравились и эти медленные сумерки, и тихая осень, и мое настроение, и то, что со мной только что произошло. Я шла, смотря перед собой, слушая, как под ногами трескаются и рассыпаются хлопья опавших листьев, и мне было хорошо, я думала об этом странном происшествии, пытаюсь заново пережить его. Я шла в парк, я хотела в парк, к его замусоренным листьями, едва прощупываемым дорожкам, к редким, очень большим и толстым деревьям, к отсутствию людей. Мне не нужны были люди, я хотела остаться наедине с собой.

Парк, как я и ожидала, оказался почти пустым. Несколько старичков и старушек выгуливали своих собачек, да пара бегунов пробежала мне навстречу, тяжело вдыхая воздух. Я свернула с главной аллеи и пошла по чуть намеченной тропинке, а потом потеряла и ее. Солнце уже почти опустилось, кроны отсвечивали последними, уходящими тенями, я подошла к дереву, его ствол был массивный, наверное, в три моих объёма, я прислонилась к нему спиной, треснула ветка, я обернулась, вскрикнула, дернулась в сторону, скорее инстинктивно, от испуга, и сразу затихла. И так и осталась стоять, прижатая спиной к дереву, слева и справа находились его руки, упирающиеся в ствол, они оцепили меня, лишив

ненужного теперь пространства, оставив передо мной только его лицо.

Если раньше, там, в кинотеатре, я смотрела в основном на его подернутые улыбкой губы, то сейчас я не видела ничего, кроме глаз. От них трудно было избавиться, я не очень разобрала цвет, я только видела, что они светлые, но не это являлось главным. Главное, что они были оголены, казалось, с них сдернута какая-то пусть прозрачная, но оболочка, и от этого они выглядели слишком живыми, живыми до ненормальности, до патологии. И еще, в них не было дна, это я поняла сразу, они пропускали в самую глубину, и мой взгляд вязнул, и тонул, и не мог выбраться, потому что не находил на что опереться.

– Как ты меня нашел? – спросила я, как будто это был самый важный вопрос. Он улыбнулся и не ответил. – А где твоя девушка? – снова спросила я. Он все молчал, только пожал плечами, мол, какая разница. – Ты следил за мной, ты крался?

Наверное, я могла бы пробиться через его руки, но я не пыталась.

– Ага, – наконец ответил он, – я шел за тобой по пятам.

По тому, как он это сказал, и по этим «пятам» я поняла, что он опять дразнит меня и что от него ничего не добьешься.

– Ты вообще кто? – снова спросила я. И хотя этот вопрос не был важен именно сейчас, он, наверное, был важен

в принципе.

– Ты лучше спроси: чей?

– Чей? – Я воспользовалась его советом.

– Твой, – сказал он, и хотя я почувствовала наигранность в ответе, почему-то поверила.

– Откуда ты это знаешь?

– Это знаю не только я. – Я вдруг поняла, что его лицо стало ближе к моему. – Ты тоже знаешь это. Тебе нравилось смотреть, как я целовал ее, там, в кинотеатре? – вдруг спросил он. Его руки сгибались в локтях, медленно приближая лицо.

Я промолчала.

– Ты ведь хотела быть на ее месте?

Я опять ничего не ответила.

– Ты сейчас на ее месте.

Он выдержал паузу, еще больше придвинувшись ко мне, как будто не мог приближаться и говорить одновременно. И действительно, лицо девушки из кинотеатра со смятыми, развороченными губами мелькнуло передо мной, а ее сло-манное дыхание как будто проникло в меня, словно я услышала его изнутри. Его лицо находилось теперь уже в сантиметрах от моего.

– ...Но никто никогда не будет на твоём месте, – осторожно сказал он. Осторожно, потому что был уже очень близко.

Потом я услышала его запах, и он мне подошел, я вобрала его поглубже, и какой-то центр в моем мозгу, отвечающий за

реальность, отключился, и ничего не оказалось взамен, только пустота, и я падала в нее, кружась и немея.

Когда я вернулась, он все так же был рядом, слишком рядом, и спину ломило в пояснице, так сильно она вдавилась в ствол дерева. Мои руки почему-то оплетали его шею и прижимали к себе, и, когда я поняла это, я расслабила их, а потом и вовсе сняла с его плеч.

– Ты лучше, – сказал он. Лицо его не изменилось, все та же шальная улыбка.

– Лучше чем кто? – Я уже могла говорить, хотя слова рождались, я слышала это, неполноценными, хриплыми.

– Просто лучше. Без сравнений. – Голос его сейчас казался добрым и ласкающим, как губы.

– Ты ненормальный? – наконец-то поняла я, смотря в его слишком оголенные, слишком лучистые глаза.

Он кивнул, но неуверенно как-то, даже пожал плечами.

– Наверное. Но если да, то не клинически.

– Это утешает. – Я уже приходила в себя.

– Тебя как зовут? – спросил он.

– Жаклин, – ответила я и ждала, когда он назовет свое имя, но он не назвал.

– Джеки, значит, я буду тебя звать Джеки, – сказал он вместо этого, и я вдруг почувствовала свободу, свободу пространства, хотя она мне теперь вовсе была не нужна. Руки его уже не ограждали меня, ни слева, ни справа, и только заметив это, я поняла, что он отстранился.

– Ты будешь помнить меня? – спросил он и повторил: – Будешь?

– Да, – ответила я растерянно.

– Ты должна помнить обо мне, недели две-три. Хорошо?

– Почему две-три? – спросила я.

– Потому что больше не надо. Так будешь, да?

– Да, – снова повторила я, ничего не понимая.

А потом я хотела крикнуть «ты куда?», я почти крикнула, я сдержалась только на самом выдохе, потому что он вдруг повернулся и пошел прочь, в глубину парка, а я осталась одна, все еще вдавленная в дерево. Он шел не оглядываясь, а я стояла и смотрела на его удаляющуюся спину, и только отойдя метров на двадцать, он обернулся, я снова увидела его лицо, и он кивнул мне, как бы подбадривая. А потом ушел, так больше и не оглянувшись.

Он оказался прав, я помнила о нем все последующие дни. Не то чтобы я думала о нем постоянно, но он как бы присутствовал во мне, ненавязчиво и недавно. Я старалась припомнить его немного резкое, нервное лицо, оно не было красивым, как я поняла, но его нельзя было пропустить, пройти мимо, не обратив на него внимания. Однажды вечером я даже попыталась нарисовать его по памяти, потратив на рисунок несколько часов, но у меня не получилось. Мне казалось, что я его больше никогда не увижу, я не знала его имени и, даже если бы захотела, не смогла бы найти его. Да и как

он разыщет меня – я тоже не представляла. «А может быть, он и не собирается меня искать, – думала я, – может быть, для него это разовая шутка, розыгрыш, развлечение?»

Почему ты волнуешься из-за такой ерунды? – спрашивала себя, ведь нет никакого повода: ты хороша собой, ты способная, в университете все отлично, все любят тебя. А главное, у тебя есть Майкл, о нем мечтают все твои подруги, но он любит только тебя. А значит, нет никакой причины нервничать. Но я все равно нервничала.

Даже Майкл заметил перемену во мне, хотя он нечасто что-либо замечал, но тут я накричала на него пару раз, чего никогда не делала прежде. Он смотрел на меня, не понимая, что происходит, и лицо у него было таким испуганным, что мне становилось смешно – такой большой, сильный и такой растерянный. Я просила прощения и говорила, что виновата, что устала, что у меня слишком много занятий. Он сразу успокаивался, лицо его разглаживалось; он искренне жалел меня, я знала это, и говорил, что мне не надо так много заниматься, не надо переутомляться. «Может быть», – отвечала я неуверенно.

В принципе Майкл был очень хорошим. Мы учились в одном университете, он на финансовом, я на изобразительном отделении. Капитан сборной университета по американскому футболу, высокий, с широкими плечами, накачанный, с большим, правильным лицом, он был мечтой многих моих сокурсниц. Мы часто ходили по вечеринкам, у него было

много друзей, и нас все время приглашали в гости. Как-то так получалось, что мы вообще редко оставались одни, все время вокруг нас находились люди, когда же мы уединялись, он брал меня на руки, чтобы в который раз продемонстрировать свою силу, и клал на кровать, а я закрывала глаза, чтобы не смотреть и думать о чем-нибудь своем.

Это-то и являлось проблемой. Когда он раздел меня в первый раз, оставаясь сам одетым, я слышала, как учащенно бьется его сердце, но мне было холодно, и я стеснялась своей наготы, мне было неудобно от нее, от того, как он пользовался ею. Его пальцы, очень большие и очень длинные, пугали меня, когда он продвигал их между моих ног, и я морщилась. Не то чтобы я чувствовала боль, я вообще ничего не чувствовала – только ощущение инородности. Как у гинеколога, подумала я однажды.

Он клал меня на спину и руками почти с силой, хотя я и не сопротивлялась, раздвигал мне ноги, и его лицо, я видела только лицо, багровело от напряжения, и мне становилось неловко, что он изучает меня всю, как биологический предмет, и я сжималась от смущения, граничащего с позором. Потом он ложился на меня, едва дождавшись, когда хотя бы скудная влажность выступит из меня наружу, его широкие бедра были настолько тяжелы, что я, придавленная, не могла даже шевельнуть раздвинутыми ногами, и если он трогал губами мой сосок, то я чувствовала только мокроту его языка и еще небольшую боль, когда он чуть прикусывал самый

краешек.

Он входил в меня хотя и осторожно, но резкими толчками, и я пыталась, зная, что так надо, ответить ему движениями навстречу, но мне было тяжело от его тела, у меня не хватало дыхания, и я ошибалась еще и потому, что ощущала в себе лишь шершавую натертость, и, когда он скоро кончал, испытывала облегчение.

Видимо, он понимал, что я остаюсь совершенно безразличной к его ласкам, хотя я вовсю старалась этого не показать, и поначалу еще пытался что-то изменить: сажал меня сверху, но тогда двигаться приходилось мне, и получалась, что я сама повинна в своей бесчувственности, к тому же я становилась слишком открыта, слишком не защищена от его взгляда. Оттого что он смотрел, я чувствовала себя еще более неудобно, мне было стыдно и за свою грудь, которая неловко сотрясалась от настойчивого движения, и за свои незащитные ноги, и за такую легкую доступность проникновения в меня. Он терпеливо трогал все те выпуклости и впадины, которые, по его представлению, были чувствительными на моем теле, и я даже была признательна за его механическое старание и закрывала глаза, чтобы он думал, что мне хорошо. Но он все же не был уверен и спрашивал: «Тебе хорошо?» И я кивала, так и не открывая глаз, потому что не хотела смотреть.

Я даже не заметила, в какой момент Майкл привык к тому, что я не чувствую его, видимо, неудача попыток больше его

не беспокоила, и наш секс постепенно направился только на него, только на то, чтобы ему было хорошо. Он по-прежнему ласкал и трогал меня, но ласки эти требовались исключительно для его возбуждения, и, когда он начинал упираться в меня, я привычно раздвигала ноги и принималась думать о чем-нибудь постороннем, лишь иногда открывая глаза, чтобы посмотреть, скоро ли все закончится.

Как это ни кажется сейчас странным, меня не особенно угнетала моя сексуальная обязанность: я была молода тогда, очень молода. Сам факт, что у меня отношения с красивым, известным парнем, импонировал мне, и именно поэтому обреченность любовных игр воспринималась мной как пусть не очень приятная, но и не удручающая обязанность. К тому же Майкл был хорошим другом, он всегда проявлял заботу и внимание, старался предупредить любое мое желание, и, самое главное, он был надежен. Со стороны мы смотрелись как примерная пара, прямо из поучительной книжки про образцовые отношения среди молодежи.

Но тогда, первые несколько дней после происшествия в кинотеатре, я нервничала и даже не встречалась с Майклом, придумывая всяческие отговорки. Я не сразу заметила, что постоянно вглядываюсь в проходящих мимо меня людей, прочесываю взглядом толпу, даже заглядываю в окна автомобилей. А когда поняла, что ищу его, этого неизвестного мне человека из кинотеатра, ищу неосознанно, я немного испугалась и сама позвонила Майклу. Мы снова стали ходить

в кино, в компании, выезжать на природу, и я немного успокоилась, не то чтобы я забыла, нет, но необычная эта встреча как бы отдалилась, выйдя за рамки моей ежедневной рутинной жизни.

Мне становится холодно. Солнце уже начало спорить с океаном, оно не знает еще, что сегодняшний день закончится так же, как и все предыдущие, и старается, и наваливается на океан своей пылающей красной массой, пытаюсь накрыть его разросшимся своим закатом. Но я знаю, как все закончится, я знаю, что скоро станет темно, и холодно, и зябко и что мне пора в дом. Но то ли мне лень, то ли меня охватила парализующая истома воспоминаний, но мне не хочется вставать, я все смотрю вдаль, я все вглядываюсь в медленно угасающий закат.

А потом мы пошли на очередную вечеринку к новым друзьям Майкла. Дом был большой, народу собралось много, человек шестьдесят или больше. Я и сейчас помню, как будто это случилось вчера, я сидела в гостиной на стуле со стаканом вина, Майкл находился рядом: он никогда не отходил далеко от меня. Если мне требовалось что-либо, долить вина например, он оказывался тут как тут, и я ловила на себе завистливые взгляды женщин, впрочем, взгляды мужчин я ловила тоже. Мне не было скучно, я всегда любила рассматривать людей, особенно их лица, я даже придумала такую игру: я представляла, какую деталь надо изменить, чтобы лицо

стало красивым, и как бы я его нарисовала. К моему удивлению, оказалось, что и подправить надо совсем немного, чтобы сделать любое лицо примечательным. Я сначала поразились простоте своей находки, а потом распространила ее на весь остальной мир – разница между несовершенным и совершенным, вывела я правило, всего лишь в «чуть-чуть». Но это так, к слову.

В общем, я не скучала, я глядела по сторонам, а потом увидела его, и произошло это как-то обыденно; вот только сейчас его не было, и вот он стоит, небрежно прислонившись к стене, смотрит на меня и улыбается легкой, чуть насмешливой улыбкой, как тогда, в кино. Я вздрогнула и поежилась от пробежавшего по спине холодка, мне показалось, что все заметили мое смущение, и я покраснела, а потом улыбнулась, глупо так улыбнулась.

Он перехватил мой взгляд, но в выражении его лица ничего не изменилось, он так же продолжал стоять, и я, понимая, как нелепо выгляжу с этой дурацкой ухмылкой, сдержала себя, расслабила чуть согнутую спину и немного склонила голову набок. Я знала, что такая, не лишенная кокетства, поза идет моему гибкому телу. Мы так и смотрели друг на друга несколько минут, наверное, я ждала, что будет дальше, но ничего не происходило, и тогда я встала, и нарочито демонстративно повернулась к нему спиной, и пошла в другую комнату – там было много комнат, в этом доме. По дороге я посмотрела на Майкла, и он тут же подошел и спро-

сил, все ли в порядке, не хочу ли я чего-нибудь, но я ответила, что нет, мне ничего не надо, просто пройдусь, посмотрю дом. Я прошла через две комнаты, везде находились люди, пили, шумно разговаривали, я в результате оказалась в длинном узком коридоре, ведущем в другую половину дома, очень желтая лампочка освещала его, а может быть, просто стены были выкрашены желтой краской, оттого так и казалось. Я не вздрогнула, когда почувствовала руку у себя на плече, я знала, что это он, и поэтому, обернувшись, не ощутила волнения. А потом взглянула в его глаза и сразу поняла, как мучительно мне не хватало их все эти недели.

– Как ты здесь оказался? – спросила я, не отрывая взгляда.

– Я искал тебя, Джеки.

Мне стало радостно, я сама не ожидала, что обрадуюсь так сильно.

– Откуда ты знал, что я буду здесь? – спросила я на всякий случай.

– Я не знал. Я же говорю, что искал тебя. Я думал о тебе.

– Да? – как дура переспросила я.

– Конечно. Ты же знала, ты чувствовала.

– Что?

– Что я думаю. Ты должна была чувствовать. Ты чувствовала?

– Наверное, – ответила я, – я нервничала. – Мне не хотелось кокетничать и притворяться, я ощущала потребность говорить правду, чтобы он знал. – Почему ты не спросил мой

телефон, тогда, в парке?

Мне показалось, он удивился.

– Я должен был найти тебя. Я хотел думать о тебе и искать тебя, понимаешь?

– Отчасти, – сказала я.

– Мне надо было, чтобы ты не оказалась случайной, чтобы не получилось так, что мы встретились нечаянно в кино. Мне хотелось думать о тебе, мечтать о тебе, знаешь, у меня были всякие фантазии...

Его голос оставался серьезным, но легкая улыбка по-прежнему не сходила с губ, и я молчала: я не знала, чему верить – голосу или улыбке.

– Я представлял, как мы встретимся на вечеринке и потому, как ты согласишься на меня, я пойму, что ты ждала меня. А потом ты встанешь, и пойдешь в другую комнату, и на пороге обернешься, как бы приглашая меня с собой. Я мечтал, что остановлю тебя в коридоре и мы будем стоять близко друг от друга, так, что я смогу протянуть руку и дотронуться до тебя.

Он взял мою ладонь в свою. Я молчала, я понимала, что он переплетает иллюзию и реальность, чтобы я перестала понимать, где нахожусь. Я понимала это и поддавалась.

– А еще я мечтал, как увлеку тебя в закрытую комнату и запру дверь, чтобы никто не смог зайти. Там было бы темно, и, не видя, я смог бы различить тебя только на ощупь. Я бы даже не снял с тебя юбку... ты ведь в юбке?

– Конечно, – почему-то ответила я.

– Вот видишь. Я бы только задрал ее наверх и взял бы тебя, – он так и сказал «взял», – а за дверью было бы много людей, возможно, кто-нибудь хотел войти, но мы бы не открыли, и ты бы прижималась ко мне еще сильнее. Ты хочешь так? – резко закончил он вопросом, и я снова ответила: «Конечно». И, даже успевая подумать, добавила: «Да, хочу».

То ли он тащил меня, то ли я шла сама, но дверь оказалась в трех-четырех шагах. Я даже не поняла, куда она ведет, так быстро захлопнулась она за нами, я только услышала щелчок замка, и яркий свет коридора сразу оказался в прошлом, может быть, и не существовавшем никогда прежде.

Я ничего не могла различить в этой крошечной от перехода темноте, и оттого, что зрение пропало и осталось только осязание, стало немного жутковато и упоительно. Я отыскала его губы губами, а может быть, это он нашел мои, и руки его прижимали меня к себе, но мне не хватало их, и я тоже обняла его, и все еще больше помутилось, но помутнение это было естественным, оно было частью темноты.

На мгновение я потеряла его, но только на мгновение, потому что тут же ощутила у себя на бедрах скользящие прикосновения, и оттого, что они были очень теплыми, я поняла, что его руки проникли под юбку. Они поднимались все выше, туда, где находилось уже не защищенное одеждой тело, и я ждала их; я не знала, хочу ли я что-нибудь еще, но его руки, именно сейчас, были мне необходимы. Потом я по-

няла, что он пытается стащить колготки, они уже поддались и, оторвавшись от моего тела, стали уходить вниз, но в этот момент я услышала голоса за дверью. Я и забыла, что есть дверь, что за ней могут быть голоса, но они нарастали, а потом выделился один, самый громкий, он все повторял одно и то же слово. «Жаклин», наконец расслышала я и поняла, что это Майкл.

– Жаклин, ты здесь?

Дверь дернулась, заскрипела поворачиваемая ручка, и дверь дернулась снова. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя, я не сообразила, что надо тут же ответить, и молчала. А потом мгновенно почувствовала страх, без перехода, страх и ужас, боязнь быть пойманной, так глупо, в какой-то закрытой комнате, и не в комнате даже, я поняла это по проступившим сквозь темноту предметам, а в ванной, в маленькой, зажатой стенками ванной комнатке – все это было как в плохом, избитом анекдоте. Мне стало скверно, к горлу поднялся комок. Чего? Страх? Стыд? «Бог ты мой, – шептала я, – как же это все пошло и нелепо». И тут я услышала шепот прямо в щеку, горячий, щекочущий шепот.

– Ответь ему, – прошептал тот, о ком я на секунду забыла.

И я пришла в себя, не полностью, но, во всяком случае, унялась дрожь, и я совладала с голосом.

– Что? – крикнула я.

– Жаклин, это ты? – раздалось из-за двери.

– Конечно, я, – прокричала я раздраженно, – в чем дело?

– Ты там одна? – спросил Майкл.

– Ты что, очумел? – Теперь я пришла в себя полностью. –

Нет, нас здесь несколько, мы совещаемся друг с другом.

Возникла пауза, а затем Майкл произнес:

– Жаклин, открой дверь.

– Ты что, рехнулся! Могу я хотя бы в туалете обойтись без тебя?

– Жаклин, – повторил он, – Боб видел, как ты зашла туда не одна.

– Майкл, – проговорила я как можно тверже, хотя у меня опять все оборвалось внутри, – послушай, не делай из себя посмешище. И из меня, кстати, тоже.

Я пыталась нащупать рычаг на бочке туалета, я шарила в темноте, не находя, а потом поняла, что надо всего лишь включить свет, и подняла руку, но она тут же оказалась стиснута и сжата, и я снова слышала шепот: «Не включай свет, пока не включай». Я хотела освободиться, в конце концов, это из-за него я попала в эту идиотскую ситуацию, но тут представила, что он увидит меня при свете, растрепанную, с размазанной на губах помадой, со складками на приспущенных колготках, с испуганными глазами, и передумала. Я снова нагнулась и почти сразу нашла рычаг, и шум воды, заглушив все, дал мне несколько секунд передышки.

– Подожди, – крикнула я за дверь и увидела у противоположной стены резкие очертания человеческой фигуры. Я не сразу догадалась, почему такие резкие, а потом сообразила:

потому что на фоне окна, там было небольшое окошко, чуть больше форточки. Я видела, как он подтянулся на руках, потом в окне исчезли его ноги, затем часть туловища. Мне показалось, он хочет что-то сказать, и я сделала два шага вперед.

– Не волнуйся, я найду тебя, теперь уж точно, – прошептал он почти неслышно.

Я кивнула, мне показалось в темноте, что он по-прежнему улыбался. Он исчез, и я осталась одна.

Все разом изменилось: ситуация перестала быть нелепой, наоборот, нелепым оказался Майкл с его смехотворными шпионами, неверием и общим идиотизмом. Я подтянула колготки, одернула юбку, дверь снова дернули, и я крикнула: «Подожди, сейчас открою. Дай мне привести себя в порядок». Затем включила воду в раковине и только после этого подошла к окну, я не ожидала никого увидеть: ванная комната располагалась на первом этаже, и исчезнувший из нее человек уже должен был находиться далеко. На улице тускло, но отчетливо светил фонарный столб, и я окаменела: прямо под домом вниз уходил крутой склон холма. Дом стоял на самом краю склона, и до земли было метров пять.

И тут я увидела его. Он висел на руках, держась за выступ и пытаясь нащупать ногами опору, а когда нашел ее, перевел одну руку ниже и стал снова искать, за что зацепиться. А потом я, наверное, закричала, потому что ноги его сделали судорожное движение, одна за другой теряя опору, одна рука

метнулась вверх, но не успела, и я заметила, как пальцы другой, так и не разжимаясь, соскочили с упора, а потом метнулось его лицо, ничего сейчас не выражавшее, и почти сразу раздался глухой стук, как будто упал плотно набитый мешок, и я увидела лежащее тело, и больше я не видела ничего. Конечно, я закричала, потому что дверь сразу же поддалась и распахнулась с таким треском, как будто разлетелась на куски; кто-то вбежал, я не различила кто, несколько человек, меня оттолкнули в сторону, но мне было все равно, я рванулась к выходу, а потом бежала по коридору, через комнаты, и мертвый звук падения все стучал у меня в голове. На улице мне пришлось остановиться, чтобы сообразить, с какой стороны окно, из которого он выпал, а затем я спускалась по почти отвесному холму, хватаясь за ветви кустов, корни, вырывая вместе с травой ошметки земли, ломая ногти. Я не думала, жив он или разбился, я ни о чем не думала, единственное, что я могла выделить из хаоса в голове, – это глухой стук падения и еще необходимость в поспешности, как будто кто-то нашептывал мне: «быстрее, быстрее». Позади раздавались голоса, но я не различала их, по-видимому, за мной бежали, но мне было все равно, единственно важным для меня было успеть. Когда я подбежала, он уже сидел, он был жив, и только это имело значение, больше ничего. Я подошла и присела на корточки рядом с ним.

– Ты как? – спросила я. Он усмехнулся, лицо его было поцарапано, он выглядел жалким сейчас, еще не пришедшим

в себя от сотрясения, но именно тогда я почувствовала, что влюблена в него. Я хотела провести рукой по его лицу, снять боль, я даже протянула руку, но тут что-то толкнуло меня в бок, и я отлетела, я бы ударилась, но успела подставить руки. Я огляделась: Майкл и еще четверо ребят, видимо, только что подбежали, они тяжело дышали, к тому же еще несколько человек спешили к нам, спускаясь с холма. Все происходило так быстро, я даже не успела подняться, а Майкл уже склонился над ним и, тыча в лицо своим большим кулаком, что-то кричал, задыхаясь, прямо на глазах багровея от напряжения. Я не сразу разобрала слова, я только слышала ругательства и еще свое имя, «Жаклин», а потом Майкл повторил криком: «Что ты делал с ней, гад? Что вы там делали?»

Я видела, что шея Майкла набычилась, почти увеличившись вдвое, Майкл схватил его за рубашку и рывком поднял с земли на ноги. Видимо, он не мог твердо держаться на ногах и немного покачивался, пока Майкл медленно и тщательно отводил правую руку, левой все так же держа его за ворот рубашки, как бы подстраивая его лицо под удар. А потом был удар, и я вскочила и бросилась к ним, но опоздала. Пока я бежала эти несколько шагов, кулак Майкла вошел в лицо, сначала оно резко дернулось, а потом все тело оторвалось от держащей руки Майкла, оставив в сжатых пальцах с хрустом вырванный клоч рубашки, и, отлетев метр-два, повалилось безжизненно навзничь.

– Сволочь! – крикнула я, направляя свои кулаки в огром-

ную спину. – Что ты делаешь, как ты... Но тут он повернулся, его лицо поразило меня своим бешеным выражением, я никогда не думала, что у Майкла может быть такое бездумное, животное лицо, и мне стало страшно, за себя страшно. И тут же я увидела что-то летящее в меня, стремительно, прямо в глаза, я хотела зажмуриться, но не успела, потому что тут же раздался шлепок, громкий, оглушающе громкий, меня отбросило назад, и почти сразу я почувствовала, что моя щека онемела. Я дотронулась до нее пальцами и ничего не ощутила, только через мгновение – жжение, сильное режущее жжение, и еще правая часть нижней губы как-то нарочито неестественно вывернулась наружу.

– Сука, – прохрипел Майкл, снова замахнувшись, и я, ожидая нового удара, отступила на шаг, но его занесенная рука застыла в воздухе. – Как ты могла? – прохрипел он и повторил: – Как ты могла?

Я хотела что-то ответить, но справа раздался шорох. Тот, из кого Майкл, казалось, только что выбил сознание, пытался встать. Он перевернулся и теперь стоял на коленях, трясая головой, одна рука безвольно болталась, второй он упирался в землю. Ему потребовалось время, чтобы подняться на ноги, все смотрели: получится – не получится, и у него получилось. Он стоял пошатываясь, но Майкл снова схватил его за рубашку и опять, тыча в лицо угрожающе выставленным пальцем, процедил:

– Если ты, сволочь, сейчас же не расскажешь мне все, счи-

тай, что ты калека. Ты никогда не встанешь с инвалидной коляски.

Я отчетливо слышала каждое слово и так же отчетливо поняла, что это правда – Майкл собирался покалечить его.

– Что ты хочешь узнать? – раздался тихий, с трудом различимый голос. – Я вообще не понимаю: о чем ты? Я читал ей стихи. Глупо получилось, конечно, но я читал стихи.

– Я убью тебя, я сейчас убью тебя, – прохрипел Майкл и снова занес руку со сжатыми в кулак пальцами. – Какие стихи?

– Я пишу стихи. – Голос немного окреп, в нем не слышалось страха, наоборот, мне почудилась даже скрытая усмешка. – Я хотел прочитать ей стихи, она любит стихи, ты ведь знаешь, вот и все. И мы зашли в эту комнату, в ванную то есть, и я читал стихи.

– Зачем надо было заходить в ванную?

Мне показалось, что Майкл опешил не только от простоты объяснения, но и от спокойного голоса тоже.

– Я начал читать в коридоре, но там было шумно, музыка мешала, и я предложил перейти в другую комнату, я даже не знал, что это ванная, думал, отдельная комната. – Это правда, подумала я. – А потом, когда ты начал стучать, Жаклин испугалась, что ты неправильно все поймешь, и я решил вылезти в окно, чтобы разрядить ситуацию, да вот свалился.

Он даже усмехнулся, как будто извиняясь, и мне показалось, что при этом он посмотрел на меня. Объяснение закон-

чилось, но Майкл все еще держал его, не расслабляя занесенной руки.

– Какие стихи? – спросил Майкл, видимо не зная, что делать дальше.

– Я написал стихотворение, большое, почти поэму, я ее всем читаю. – И вдруг он стал читать:

*Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.
Созвездья погаси и большие не смотри...*

Он читал в специфической авторской манере, немного монотонно, делая ударение на только ему известных слогах. И все же в этой декламации проступало скрытое глумление, возможно, в интонациях, но только одна я могла его различить. Впрочем, он не дочитал стихотворение, широкая ладонь Майкла сжала его лицо, вмяная щеки, а затем с силой толкнула назад.

– Смотри, гад, – сказал Майкл, подходя к нему, лежащему совершенно беззащитно на земле. – Еще раз увижу – тебе не жить.

– Заканчивай, Майк, – сказал кто-то из собравшейся толпы, – может быть, он правду говорит. Может, так получилось и никто не виноват.

Майкл повернулся и посмотрел на людей, стоявших за его

спиной.

– Да, Майк, кончай, а то полицию вызовут. Пойдем в дом.

Майкл все же пнул ногой расprostертое на земле тело, куда-то в мягкое, но уже не сильно, скорее для острастки, и подошел ко мне.

– Это правда? – спросил он. – То, что он сказал про стихи, правда?

– Не твое дело, кретин. – Я вложила в свои слова столько злости, сколько смогла. Щека горела, я не чувствовала уже половину лица.

– Ну ладно, – сказал Майкл, – прости. Я ведь не знал.

– Уйди, – сказала я, мне на самом деле не терпелось, чтобы он ушел.

– Ну ладно, пойдем.

Понятно, что он хотел примирения, а чего ему было не хотеть? – я всегда примерно выполняла все свои обязанности, особенно женские. А что я получала взамен, разбитую губу?

– Проваливай, – повторила я и сама удивилась своему голосу.

– Я тебе позвоню?

– Нет, – ответила я твердо.

– Ты мне позвонишь?

– Я подумаю. – Я готова была сказать все, что угодно, лишь бы он ушел.

Похоже, Майклу было достаточно этого компромисса, и он повернулся и побрел в сторону дома. Там, чуть сбоку, шли

ступеньки, и не надо было мне, дуре, карабкаться по крутому откосу, ломать ногти, стоило только посмотреть внимательно. Впрочем, это уже не имело значения.

Я подождала, пока все уйдут, а потом подошла к своему неудачливому знакомому. Он успел сесть, ноги раскинуты в стороны, спина ссутулена, одна рука упиралась в землю. Я присела рядом.

– Что у тебя с рукой? – спросила я.

– Не знаю, сломал или вывихнул.

– Это он ее... – Я не знала, как продолжить.

– Нет, это при падении, наверное. – Он посмотрел на руку, а потом на меня. Сейчас у него было на редкость глупое лицо. Все избитое, опухшее, в синяках, но довольное, я видела, оно было довольным, его основательно разбитое лицо, и оттого выглядело особенно дурацким и трогательным. Я улыбнулась. – Ты чего? – спросил он и тоже улыбнулся.

– Улыбаешься, радуешься, что жив остался? – Я протянула руку и сняла прилипший к его виску пожухлый лист.

– Ну, в общем, да. – Его взгляд вновь обрел прежнее озорство.

– Я даже не знаю твоего имени. Как тебя зовут?

И тут он стал хохотать, даже не смеяться, а именно хохотать. Я тоже не удержалась.

– Ты чего? – спросила я сквозь смех, глядя на его перекошенное от хохота и боли лицо.

– Это очень смешно... Я чуть тебя не трахнул... А ты не

знаешь моего имени... – Он смеялся так заразительно, я понимала, что это выходит напряжение, но все равно поддавалась. – Меня чуть не убили из-за тебя... – проговорил он, прорываясь сквозь смех.

– Ну ладно, убили... – вставила я.

– Ну, хорошо, чуть не покалечили... а она не знает моего имени. Это очень смешно...

Мы покатывались еще пару минут, а потом смех стал стихать.

– Ты можешь идти? – спросила я.

– Надеюсь, – ответил он, вытирая слезы.

Мы вышли на улицу, он хромал и прижимал одной рукой другую. Минут пять мы ждали случайного такси.

– Так как тебя зовут? – снова спросила я. Он усмехнулся, но теперь уже коротко.

– Стив, – ответил он.

– Стив, – зачем-то повторила я. А потом снова спросила: – А ты вообще кто? Чем занимаешься?

– Да вот, дерусь по вечерам, хотя в основном являюсь объектом для избиения.

Я улыбнулась, мне нравилось, что он так легкомысленно говорит о происшедшем. Другой бы пыжился, а этот, наоборот, смеялся.

– Нет, на самом деле, что ты делаешь: учишься, работаешь?

– Да это неинтересно. – Он попытался махнуть здоровой

рукой, но у него не получилось, я видела, как он поморщился от боли. Прошло несколько секунд, и он все же сказал: — Преподаю лингвистику в университете.

— Так ты серьезный человек, — удивилась я. — Старый уже, наверное?

— Нет, не очень. — Он повернул ко мне лицо, и я сама увидела, что не очень.

— Как тебя еще с работы не выгнали. — Я немного ехидничала. — Вам ведь, учителям, вроде бы не полагается к незнакомым девушкам приставать.

— Так они же не знают. — Он сказал это так просто, что получилось опять смешно. — А потом, если и выгонят, то к лучшему.

— Ты, похоже, не очень в лингвистике? — уточнила я, хотя мне, конечно, было все равно.

— Не-а, — подтвердил он, — не очень.

Мы замолчали.

— А стихи, которые ты читал Майклу, действительно твои? — спросила я позже.

— Ну да, мои, как же... — Он посасывал губу, потом сплюнул под ноги. — Оден, классика, знать надо.

— Ты не жалеешь? — спросила я еще через минуту.

— О чем?

— Ну как, что едва не разбился, что больно, что рука вот, похоже, сломана?

Он поднял голову, и посмотрел на меня, отчетливо по-

смотрел, и сказал серьезно:

– Знаешь, поступки, о которых сожалеешь поначалу, ну те, что называются ошибками прошлого, они единственные, о которых память остается. А раз остается, значит, они и есть самое ценное. Память отсеивает. Понимаешь? – Он помолчал, а потом добавил, и голос его сразу утратил серьезность: – Да и потом, зачем жалеть? Если жалеть, то и делать не стоит. А если все-таки делаешь, то уж нечего жалеть.

– Очень просто, – сказала я.

Он кивнул, мол, действительно, просто.

Так все и было, говорю я вслух, так я и познакомилась со Стивом. Я опускаю глаза к книге, я могу еще разобрать очертания слов, но складывать их все вместе – уже невозможно. Так же и с океаном, я еще могу рассмотреть отдельные его части, но соединить их и слить в единую океанскую стихию уже сложно, и все из-за темноты. Темнота – это не только недостаток света, это когда что-то живое вползает, вкрапливается в каждую частицу прозрачного воздуха и сначала растворяется в нем, слегка притупив собой прозрачность, а потом, осмелев, разрастается и поглощает ее, выпуская пары ядовитого полумрака. В этом замутненном, сгустившемся воздухе тоже есть своя прелесть полутона, но нет кристальности, чистоты и порядка.

Мне уже давно пора перейти в дом, я окоченела от холода, но не то воспоминания, не то сам холод заморозили меня, и я

безвольно подчиняюсь их обезболивающей, убаюкивающей власти. Все же я заставляю себя и встаю, держа книгу в одной руке, а плед в другой, океан остается у меня за спиной, и только его непрерывный шум, да еще скрип освобожденной качалки догоняют мои шаги.

В доме тепло. Я завариваю чай и усаживаюсь на диване, подогнув под себя ноги. Натянувшиеся на коленях джинсы сдавливают слишком туго, и я встаю, и стягиваю их, и остаюсь в одних колготках. Они тоже плотно обтягивают живот и бедра, но они подвижнее и гибче, и я снова поудобнее устраиваюсь на диване. Я набрасываю на себя плед, он еще хранит вечернюю океанскую прохладу, но я знаю, скоро он отопреет и себя, и меня, и я вновь чувствую себя уютно и покойно. Книга открыта ближе к началу, и взгляд мой останавливается на параграфе под номером семьдесят семь.

Мне везло в жизни, она часто сводила меня с людьми особенными, неадекватными. Видимо, я сам подсознательно искал их и отсеивал из общей массы знакомых, а потом цеплялся, не позволяя оторваться. Так или иначе, но мне везло.

Впрочем, дело в том, что «одаренный человек» не означает «успешный», между талантом потенциальным и реализованным большая дистанция, и беда в том, что лишь немногие ее проходят. В этом-то и печаль, в этом и обида, может быть, самая большая из многих обид, видеть, как во времени затухает божья искорка, так и не разгоревшись, и сознавать, что тление необратимо и уже никогда не приведет к огню.

Это безусловное клише, но любой талант требует еще многих сопутствующих качеств, самое главное из которых, как ни парадоксально, это уверенность, что он существует. Только она может провести через соблазны прагматического быта, которые упрощают, молят не рисковать, не пробовать. Ведь если засомневаешься на минуту, если, как в той сказке, рука дрогнет или глаз моргнет, то затянет тут же талант в предательский водоворот частных устремлений и мелких радостей. И разменяют они его.

Сколько я знаю историй про растраченный, разбросанный по длине жизни талант! Сколько я видел глаз с затаенной неудовлетворенной тоской! И каждый раз, слыша чью-то ис-

торию, когда опять не случилось, не произошло, не реализовалось, я думаю про себя: «Бог ты мой, как все же обидно».

Интересно, что один мой приятель заспорил со мной, он, видимо, подозревал меня в высокомерии, не понимая, что сострадание может быть не конкурирующее, а равноправное. Но я и не думал его убеждать, я задумался о другом. «Кто же не вызывает во мне жалости?» – спросил я себя.

И понял: лишь те немногие, которые руководят судьбой. Не судьба увлекает их в свое плавное, затухающее течение, а они решают, когда повернуть в сторону, когда приостановиться, а когда рвануться вперед. И не то чтобы они были как-то особенно счастливы и в процессе, и часто в результате, но мне не жаль их, даже когда они теряют или проигрывают. Они единственные, кто не вызывает у меня жалости...

Про меня ли это? – думаю я. Наверное. Я всегда делала лишь то, что хотела и считала нужным. Это Стив открыл во мне страсть и ощущение собственной силы, без него я бы по-прежнему предназначала себя для того, чтобы доставлять удовольствие другим. Что же было в нем особенного, чего не было в других? Я уже тогда думала об этом и однажды спросила его, но он сам тогда точно не знал, он лишь пожал плечами, догадываясь.

Был вечер, мы лежали еще потные, почти безжизненные на такой же потной и такой же безжизненной простыне, и к нам только начинал приходить дар речи, взглядов и расслаб-

ленный дар движений.

– Что же это такое? Почему это так? – спросила я. – Вроде бы в тебе ничего особенного нет, но почему же я безумно сильно чувствую тебя?

Он не ответил, а может быть, и не знал ответа, и пожал плечами. Мы молчали, хотя и не молчание это было вовсе, просто паузы в такие минуты становятся эластичными, они словно накапливают в себя время, набухают от него.

– Может быть, ты любишь меня? – наконец предположил Стив.

– Слишком просто, – сказала я и, чтобы наверняка вывести его из уверенной устойчивости, добавила: – Мало ли, кого я любила.

Конечно, он знал, что я до него никого не любила, я сама ему рассказывала. Стив повернул голову, и я увидела его глаза, похожие сейчас на две океанские впадины. Нет, мне не понравилось сравнение, слишком истертое, не для такого осязаемого взгляда, в который легко можно было погрузиться и пропасть.

– Наверное, энергия, – только и сказал он, мой родной, мой такой бесконечно родной сейчас.

Я блаженно улыбнулась, так мне стало свободно и хорошо. К телу стала возвращаться жизнь, и я уже знала, что в результате ее окажется больше, чем до того, как она, казалось, исчезла вообще.

«Энергия, – подумала я, – а ведь он прав. В нем дей-

ствительно есть какое-то физически осязаемое поле, которое я научилась воспринимать. Впрочем, научилась ли? Может быть, я всегда умела, просто нужно было найти человека, несущего эту энергию».

– Помнишь, как мы поцеловались в первый раз, тогда, в парке.

Я не ждала, что он ответит, я по-прежнему говорила для себя, для своей памяти, для своего удовольствия, но он сказал:

– У тебя были чуткие губы – Он замолчал, я уже хотела спросить ревниво: «А сейчас другие?», но промолчала. – У тебя все тело было чуткое.

– Откуда ты знал про мое тело?

Он пожал плечами.

– А сейчас другое? – все же спросила я.

– Сейчас другое. Более животное. Жадное.

– Это плохо? – спросила я.

– Нет, не плохо. Только опасно.

Это было смешно.

– В чем опасность? Для кого? – засмеялась я.

– Для тех, кто рядом с тобой. – Он задумался. – И для тебя тоже, наверное.

– Так ты боишься меня?

– Нет, пока нет.

Я поняла, что он тоже улыбнулся.

– Что это за энергия, Стив? – спросила я.

– Энергия? – Он задумался. – Это энергия желания. Я всегда хочу тебя, и это порождает энергию. И она направлена только на тебя, и только ты можешь ее распознать. Это то, что называют химией.

– Да, да, – согласилась я, – все так и происходит. Ты чувствуешь, что я тебя хочу, даже на расстоянии, даже когда я тебя не касаюсь, это в воздухе и направлено только на тебя. А я чувствую, что такая же энергия исходит от тебя, и энергия каждого из нас усиливает энергию другого.

«Конечно, – подумала я, – это как снежный ком, и интересно, что бы случилось, если бы мы периодически не оказывались в постели и не разряжали эту энергию? Интересно, что бы произошло тогда? Наверное, что-нибудь не выдержало и разорвалось. Что бы это могло быть? – Я уже просто хулиганила. – Ну, у него-то понятно, хотя не дай бог, конечно, но что может разорваться у меня?»

– Это вопрос? – сказала я вслух, и он ничего не понял.

– Что за вопрос?

– Что у меня может разорваться от напряжения?

Большого ему не надо было объяснять, может быть, и коряво, но он все же умел пробираться по строчкам моей фантазии. «Фан-та-зии», зачем-то проговорила я про себя по слогам.

Он усмехнулся.

– Разорваться, говоришь. – Он опять усмехнулся. – Она не может.

Мне показалось забавным, что он так безличен, еще двадцать минут назад у него было для «нее» множество имен, и все неожиданные, а сейчас от этой сытой расслабленности уже ни одного не осталось. Я покачала головой, но все равно получилось так, что потерлась щекой о его плечо.

– Нет, – согласилась я, – никак не может. От напряжения уж точно. «Она», – я выделила это слово, пусть ему будет стыдно за такое обезличивание, – эластичная.

– Эластичная, – повторил за мной Стив, благодушно соглашаясь.

– Голова может, – предположила я.

Я увидела его лицо, значит, он повернулся ко мне, и глаза оказались так близко, что я не выдержала и вцепилась зубами, впилась в его тело, не выбирая место, в первое, что попало. Это был безумный, неуправляемый порыв, я даже испугалась на секунду, что не смогу удержаться, так сильно хотелось внутрь, в плоть. Но я все же остановила его и с трудом разжала зубы, а потом удовлетворенно посмотрела на сразу покрасневшие глубокие рубцы на его коже.

– Полегчало? – с пониманием спросил Стив, но я уже снова лежала головой у него на плече, непонятно откуда возникший заряд почти весь вышел, и, чтобы выдавить из себя его остаток, я сказала куда-то в воздух:

– Как же я люблю тебя!

– Ты все-таки дура. Ты меня когда-нибудь прокусишь.

Я улыбнулась, голос Стива был полон безразличия, если

бы я даже и прокусила его, он все равно бы не заметил.

— Конечно, моя голова может разорваться, если что-нибудь произойдет не так. Запросто возьмет и разорвется, — повторила я.

Он приподнялся надо мной, осторожно, внимательно, чтобы не повредить уюту моей головы. Его свободная рука легла мне на живот и, томительно медленно собирая на своем пути кожу, мышцы, до боли перемалывая все это в горсти, двинулась ниже, к лобку, к коротким волосам на нем. А потом, не жалея, захватывая все, что только можно было захватить, двинулась дальше, и я, уже в предчувствии, уже с трудом вдыхая и сглатывая волнение, напряглась, и даже приподнялась бедрами, и чуть раздвинула ноги, не широко, чтобы только прошла его рука.

Я знала, я чувствовала, что губы мои раскрыты и ждут его со всей своей слезящейся нежностью, мечтая, чтобы хотя бы его рука, хотя бы его пальцы дотянулись, и трогали, и брали. И дождались. Он накрыл их ладонью и повторил движение: сжал, захватил губы, волосы и еще что-то от самого края ноги и перемешал, сжимая немилосердно, так что я заерзала от боли и, придавленная его рукой, выгнулась грудью, пытаюсь перехватить ртом его рот, который уже был здесь, рядом, вплотную. И только перед тем, как отпустить меня, рукой, губами, он вдохнул в меня слова, я различила их не по звуку, а по колебанию воздуха:

— Это еще называется «сойти с ума».

И он отпустил, а я, рухнув вниз, захотела снова сказать, что люблю его и что, наверное, уже сошла с ума, но промолчала и, лишь повернув к нему голову, дотянулась до него губами и чмокнула наугад.

То ли это был вкус его шеи, то ли секундное скольжение губ по коже, а может быть, потому, что я подумала о нем с мгновенно возникшим трепетом, наверное, именно поэтому, но я приподнялась и склонилась над ним, внимательно вглядываясь в каждую черточку, каждый штрих на его лице. Как ни странно, я не нуждалась в его ласке, я хотела только давать, и мне не нужно было ничего в ответ. Мои волосы соскользнули вниз, на его лицо, а губы, слегка, едва касаясь, прошлись вдоль шеи, тревожа ее легкостью движений, отдавая нежность и тепло, но и их же получая взамен, и еще его запах – нежный, тонкий, почти детский запах его кожи. Я так любила его сейчас и за спокойствие, и за благодарность в закрытых глазах, и за едва различимое дрожание кожи под моими губами.

Я подалась к нему, мой живот вдавился в его бедро, и я почувствовала боль, но я не боялась боли, ни сейчас, ни потом, моя грудь, сдавленная нашими телами, тоже болезненно ныла, но не резко, а тупо, распластанно, именно так, как я и ждала. Я сползла губами к его груди, к спутанному щекотанию волос, к их ласковому упругому сопротивлению. Как трава гибко выгибается от порыва ветра, чтобы тут же распрямиться, так и они пытались освободиться от моих губ,

но тут же сами цеплялись за них, не пуская, пытаясь продлить, задержать. И еще мной овладел какой-то первобытный инстинкт, животный, неподвластный: спрятаться, закопаться, почувствовать себя маленькой на его широкой груди. Но не беззащитно-маленькой, а ведущей, контролирующей эту мужскую силу, и не противиться ей, а, наоборот, подчиниться и именно этим в результате овладеть ею.

Наверное, я застонала, скользя лицом по его груди, перекатываясь по его телу; все чувства, которые накопились во мне и не могли найти выхода, вылились в этом слабом звуке. В это мгновение я впервые поняла, что у меня есть душа. Я даже представила, что если бы в эту секунду меня вдруг разрезали, вскрыли бы грудную клетку, то внутри, где-то между сердцем и легкими, они, безжалостные исследователи, обнаружили бы душу вполне материальную, осязаемую, только уже уменьшившуюся от прозвучавшего стоны и все еще продолжающую таять.

– О, боже! Как хорошо! – прошептала я. – Как я люблю тебя, милый.

Стив тоже изменился, он стал другим, не таким, как еще минуту назад. Его руки ходили по моему телу, и я начинала чувствовать давление внизу живота, сначала слабое, неуверенное. Казалось, его легко можно пресечь, остановить и свести на нет, но время было упущено, и оно каменело, и разрасталось, и становилось неподвластным.

Но сейчас, когда слова мои, не удержавшись, почти безот-

четно выскользнули наружу, я почувствовала, как он вздрогнул и его рука сгребла мои волосы, он рывком опрокинул меня, и я сразу оказалась распластанной, раздавленной. Он разглядывал меня как будто заново, будто в первый раз, и я поежилась от его взгляда, близкого, почти без расстояния, он наваливался на меня тяжелее его тела.

– Повтори, – услышала я.

– Я люблю тебя. – Я даже качнула в неверии головой.

– Повтори. – В его голосе звучало зверство и угроза, и мне понравилось.

– Я люблю тебя. Я люблю тебя. Хочешь, еще сто раз? Я люблю тебя.

– Еще, еще.

Стив требовал, и я поддавалась.

– Я люблю тебя, люблю тебя, люблю.

Я сама почувствовала, что это бессчетное повторение закружило меня, и тело налилось упругостью, требуя сил. Но их не было, я только хотела раздвинуть ноги, но, когда попыталась, оказалось, что он уже между ними, и мне было совершенно все равно, когда и как это произошло, я только шла бедрами ему навстречу, и искала, и знала, что найду.

– Люблю, люблю, люблю... – повторяла я, как будто в этих словах и заключался весь смысл, вся суть нашего существования, и отчаянное, безотчетное повторение это вошло в такт с движениями, и я пронзительно сжималась, когда он входил, раздвигая меня, но тут же освобождал, оставляя пу-

стоту внутри, только для того, чтобы сразу войти снова. Так продолжалось много раз, и слова мои уже больше не были ни словами, ни причитанием, ни ворожкой, они стали лишь частью одной многослойной паутины, окутывавшей меня своей липкой вязью, и я вдруг резко пришла в сознание, когда поняла, что уже очень близко, опасно близко. Это испугало меня, хрупкая паутина прорвалась сразу в нескольких местах, я увидела свет и вскрикнула в испуге:

– Подожди, подожди, – и он, понимая меня, остановился, и раскачанная глыба тоже остановилась моим неистовым усилием, прямо над обрывом. – Подожди, – повторила я, и, когда он немного отстранился, я скользнула под ним и освободилась. Куда девалась его не допускающая движений тяжесть, как мне удалось так легко уйти от ее пригвождающей власти?

Я села на кровать, я знала, что он еще не оправился от изумления, от первой растерянности, но ведь он сам научил меня этому извращенному терпению, не ведая, что я запомню и однажды накажу. Мне по-прежнему безумно хотелось его, это было мукой, вот так зажать себя, но мука эта была не острая, а тягучая, сладостная, выжимающая соки, так что они сочились, прозрачные, наружу, тяжелые и обильные, как патока, и освобождали от тяжести.

– Я хочу нарисовать тебя, – сказала я, вставая и убирая волосы со лба. – Вот такого, переполненного похотью, неудовлетворенного.

Он улыбнулся, как большой, самодовольный кот, который, играясь с мышкой, ненароком приручил ее.

– Я никогда не рисовала тебя такого. У тебя сейчас бешеное, дикое и в то же время беззащитное лицо. А глаза... – Я не знала, что сказать о глазах. – Я хочу попробовать.

Он лениво, но довольно усмехнулся:

– Тебя лицо интересует?

– Только лицо, – пообещала я.

– Ладно. Но ты не одеваешься.

– Конечно, нет. – Я даже удивилась. – Ты странный, в этом же вся идея.

– Идея? Какая идея? – Это он подсмеивался, но я сделала вид, что не замечаю.

– Рисовать и одновременно умирать от тебя. – Я знала, он ждал именно такого ответа. Вот и получил.

Стив смотрел на меня, не отрываясь, а потом сказал с улыбкой:

– Возможно, все великие портреты были как раз так и написаны.

– Ты думаешь, мы с тобой не первые это придумали?

Я достала из шкафа папку, набор карандашей и уголь, я еще не решила, чем буду рисовать, и села на стул рядом с кроватью. Мне было неловко голой не потому, что он так въедался в меня глазами, просто голое тело стало непривычно неуклюжим, в основном из-за холодящей мокроты, захватывающей ноги; скользкость эта напоминала мне, что я все

же что-то недобрала, что-то упустила.

– Ты думаешь, Модильяни тоже рисовал, занимаясь любовью? – спросила я.

В последнее время я была влюблена в портреты Модильяни.

– Почему бы и нет. Ты же знаешь, что его натурщицы обычно становились его любовницами. Он ведь был красавчиком.

– Почему я не Модильяни? – спросила я, не без глупой зависти. – Знаешь, если бы он не придумал свои портреты, их бы придумала я.

– Ничего, ты у нас тоже красавчик, – успокоил меня Стив.

– У кого это у нас? – Я уже начала рисовать, и только это имело значение, но я все же спросила, так, для определенности.

– У меня, – поправился Стив.

Он полулежал, полусидел на подушках, но я не хотела изображать никакой опоры, только тело, повисшее в воздухе. Руки его были заложены за голову и меня немного смущали волосы под мышками, они отвлекали, я почему-то волновалась от их вида и попросила:

– Опустить правую руку – Он послушался, но кисть руки легла не совсем так, как мне хотелось, и я поправила его. – Нет, не так, положи ее на ногу.

– Ты же лицо рисуешь. При чем тут нога?

– Ничего, ничего, – успокоила я его. – Так получается вы-

разительней.

Он опять усмехнулся:

– Давай решим сначала, что ты называешь лицом?

Я на самом деле рисовала портрет. Главное было поймать мгновенное выражение глаз, кажется, чуть расширенных сейчас и источающих что-то неуловимое. Но что именно, я не могла распознать, оно ускользало, и я не могла определить его не только словами, но и движением руки. У меня не получались не только глаза, но и овал лица, и я знала, что все дело в тенях, мне надо по-другому распределить свет и тени. Я морщилась от почти физической натуги, до боли кусая губу, я пыталась ухватиться взглядом, хоть за что-нибудь ухватиться, но не получалось.

Я отложила карандаш и поменяла лист. Я сидела перед Стивом, одна нога на другой, согнувшись, стремясь проникнуть в самый рисунок. Грудь моя едва не касалась листа, и это мешало, я вздрагивала, выпрямляясь, и снова смотрела на Стива, стараясь все же поймать то неуловимое, что я упускаю. «Как ветерок, – подумала я, – как поймать ветерок, на мгновение, взглядом, а потом я смогу перенести его на бумагу, у меня достаточно техники». И я снова разделяла лицо Стива на части, я просто разбирала его по кускам.

– Подожди, – попросила я, – мне надо сесть поближе.

Я придвинула к нему стул и теперь смотрела на Стива почти в упор. Он был терпеливый, отличная натура, почти не двигался, только поедая меня глазами, как я поедала его.

– Раздвинь ноги, – попросил он и только на секунду перевел взгляд на мое лицо.

Я покачала головой.

– Нет, – сказала я твердо.

– Раздвинь ноги.

В его голосе уже не было просьбы, и я послушалась, и сняла одну ногу с другой, и отвела немного, хотя мне стало неудобно держать папку. Он опустил глаза от моего лица вниз к ногам, пытаясь проникнуть в их скрытую глубину, и именно в эту секунду мне все же удалось поймать мгновенное движение его взгляда. Я не успела понять то, что рука зафиксировала первой, сознание лишь потом догнало руку.

Нет, это даже не сами глаза, это неестественно большие зрачки заполнили всю изломанную площадь глаза, запрудили ее и своей черной тяжестью изгнали из нее прозрачность, и та боязливо отступила, отстраняясь, не желая перемещаться. «Как черное нефтяное пятно, расплзающееся по поверхности воды, – подумала я, – убивающее и свет, и прозрачность, так и это безумное пятно неестественно расширенного зрачка».

Но любые сравнения сейчас не имели значения, важно было лишь то, что я увидела и поймала, и пальцы уже отгораживали, отделяли цвета один от другого, и тени сами знали, куда падать, вернее, рука знала, и тени падали. Я начала строить композицию, на листе оставалось место только для шеи, и мне стало обидно, что лист не смог растянуться и принять

в себя всю длину тела. Мне требовалось еще минут десять, но я знала, что Стиву не скучно, моя нагота и моя увлеченность нравились ему, я видела это, когда вскидывала глаза, на мгновение отрываясь от листа.

Я закончила, разогнула спину и нырнула в постель. Мы вместе долго смотрели на рисунок, молчали.

– Страшный я какой-то, – сказал наконец Стив, все еще продолжая разглядывать себя на бумаге.

– Ты такой и есть. – Я не хотела спорить, его тепло напомнило мне о том, сколь многого я была лишена, пока рисовала.

– Не я такой, а ты меня таким видишь.

– Я тебя вижу именно таким, какой ты есть.

Я почти вырвала у него лист и метнула в сторону. Бумага на мгновение зависла в воздухе, выбирая место для падения, а потом слишком быстро для такого широкого и плотного листа опустилась на пол, почти к изголовью.

– Ты должна меня бояться, если я такой страшный.

Он уже трогал губами мою грудь, и я выгнулась спиной от этого морозящего кожу ощущения.

– Не боюсь, – ответила я, хотя мне было трудно говорить. – Ты сам меня бойся.

– Я смотрел, как ты рисовала, и сходил с ума.

Стив уже говорил не со мной, он сполз, и голова его лежала между моих ног. Я раздвинула их шире, чтобы ему стало удобнее, и закрыла глаза. Он еще ничего не делал, да-

же не трогал, а только смотрел, но я была уверена, что чувствую его взгляд, как чувствовала бы его руки, или язык, или... Нет, взгляд все же ощущается по-другому, не рецепторами, не кожей, скорее интуитивно. Или все объяснялось лишь растянувшимся ожиданием того, что, я знала, вот-вот произойдет и что я могла, опережая время, предвосхитить.

– Вот что надо рисовать, – услышала я и еще сильнее, почти до спазма почувствовала его упирающийся взгляд. – Не так, линией-двумя, а в деталях, ведь это космос, все это переплетение...

Он наконец-то провел языком, движение было мгновенное, тут же исчезнувшее, но я вскрикнула, и крик накрыл меня, и я вся подалась вперед. «Еще, еще», – пронеслось где-то надо мной.

– Еще, пожалуйста, – повторила я, но он уже не слышал, он был далеко, и ни мольбой, ни угрозой я ничего не могла изменить.

– ...во всех подробностях, во всей закрученности, это ведь полнейший сюр, бесконечность.

Он снова провел языком, на этот раз задержавшись чуть дольше на самом верху, и я снова поднялась бедрами и снова рухнула с проклятиями вниз.

– Чего там Дали нафантазировал? – Мне казалось, что он просто издевается надо мной. – При чем тут циферблаты, муравьи, скелеты? Вот где все. И ничего не надо придумывать.

– Не тронь Дали. – Я почти успела сказать, но он впился в меня, вернее, в то, что он со мной и не очень-то сейчас связывал. В его жадном движении содержалось долгожданное, нестерпимое зверство, он раздирал руками мои и так уже до предела разведенные ноги, а потом его язык, вдруг окаменев, проник внутрь и там ознобно, лакаяще заходил, как будто пытался ощупать, прилепиться, утащить за собой. А потом неизвестная сила вдруг подняла мое тело, подбросила, и я, чтобы удержаться, чтобы найти опору, протянула руки. Что-то густое, переплетясь, заполнило пальцы, и я, боясь, что не вернусь, потянула на себя и рванула, еще раз и еще, пока меня не бросило вниз, и уже внизу разом разлетелось вдребезги.

– У Маркеса это называется землетрясением. – Это было первое, что я смогла сказать, не сдерживая истомленную, измученную улыбку. Он ее все равно не видел, и хорошо, что не видел. – Ты не кончил? – зачем-то спросила я. Стив не ответил, лишь пожал плечами. – Бедный, – пожалела я его, и протянула руку, и на что-то положила, и погладила с жалостью.

– За тобой должок, – сказал он наконец, я знала, в шутку.

– Не волнуйся, подожди немного, все отдам. – Я была благодарна ему, очень благодарна, лишь бы он меня не трогал сейчас. – Ты только не трогай меня сейчас, – попросила я.

– Мальчик, самый настоящий мальчик. Удовлетворяю мальчика. Абсолютно напрасно, кстати. Как кончит, так сра-

зу не трогай. Послушай, милый мой мальчик Джеки, ты за чем мне волосы вырывала?

Я так и не поняла, о чем он. Какие волосы?

– Ты мой любимый, – успокоила я его. – Ты чего там о Дали говорил? – Мне надо было выиграть время, или просто хотелось расслабленно поболтать.

– Дали? – спросил Стив, вспоминая. – А, Дали. – Я по голосу поняла, что он улыбнулся. – Дали пропустил самый важный объект для вдохновения, так что, видишь, и для тебя что-то в этом мире оставлено.

Мы оба засмеялись, и я подумала о себе как об изобразительном певце женских гениталий. Хотя почему только женских?

– Хотя Дали, конечно... – Он не договорил фразу, сразу бросив поверх нее следующую. – Знаешь, человеку трудно создать форму, если он не видел ее в своей жизни. Он может создать шар, конус, куб, что-то сложнее, но редко может представить форму, которой не видел. Что не означает, тем не менее, что таких форм нет. Понимаешь? – Стив задумался. Я не перебивала, я любила паузы, особенно сейчас, чем длиннее, тем лучше. – Так мы о Дали. Наверное, он понимал, что новые формы ему не придумать, и поэтому брал уже существующие и создавал из них несуществующее сочетание. И хотя новые сочетания – не новые формы, но все же это шаг вперед.

– Ты именно так читаешь лекции у себя в университете? –

спросила я.

– Да, а что? Занудно?

– Ну, в общем. Читать лекции – это, похоже, не самое лучшее, что ты умеешь, – сказала я и повернула его голову к себе: мне было так удобнее для поцелуя.

У меня затекли ноги. Я уже давно чувствовала растекающееся покалывание мелких игривых иголочек, сейчас же меня накрывает пульсирующая волна. Я вытаскиваю из-под себя ступни и с трудом шевелю онемевшими пальцами. «Странно, – думаю я, – но воспоминания не вызывают у меня печали. Я не чувствую ни горечи, ни раскаяния, только нежность, тихую, умиротворенную нежность к прошлому. Почему это так? Может быть, благодаря книге, которая по едва различаемой ассоциации плавно возвращает меня в прошедшее и этим приглушает и замораживает боль?»

Прошлое, опять думаю я, как я могу плохо относиться к нему, к людям, событиям, которые случились в нем, как я могу не любить его, даже если оно принесло мне столько муки? Ведь каждый отрезок моей жизни – это часть меня, и если я недобро отношусь к своему прошлому, не значит ли это, что я плохо отношусь к самой себе? Если я пытаюсь забыть, вычеркнуть из памяти даже самое тяжелое, не означает ли это, что я пытаюсь забыть и зачеркнуть часть самой себя?

Успокоенная этой мыслью, я встаю. Пол приветливо скрипит под ногами, похоже, и его давно застоявшимся доскам

тоже нужна разминка. Спать не хочется, но часы показывают позднее для этого дома время, позднее для ночного леса за окном, для природы вообще, а значит, и для меня. Я иду в спальню. Есть что-то успокаивающее в жестком шорохе расстилаемой простыни, в упругом всплеске распрямляющегося в воздухе одеяла. Я раздеваюсь, в комнате нет зеркала, и поэтому мне приходится руками обвести и проверить округлость бедер и живота, плотность по-прежнему гибкого, натянутого тела.

Я довольна своим ритуальным осмотром, и, хотя давно не совершала его, мне по-прежнему нравятся мои узкие плечи и стройные бедра, я даже заскучала по зеркалу, по возможности полностью отразиться в нем, и играть, и кокетничать со своим отражением. Да и скольжение пальцев по коже мне тоже нравится; кожа по коже, ласка движения по ласке ожидания. Кому же больше приятно, телу или пальцам? – спрашиваю я, но не найдя ответа, проскальзываю между одеялом и простыней, и только приглушенный ночник, да еще выпирающий из окна овал луны расцветчивают и расставляют по своим местам заблудшие ночные тени.

Я чувствую расслабленную дрему подступающего сна, ночь пытается завлечь и меня в свою гипнотическую, убаюкивающую круговерть вслед за лесом, вслед за воздухом. Но я открываю книгу, мне хочется читать, и я выбираю первое, что попадется.

Другая жизнь Мадорского

Окно занимало почти всю стену и уводило сначала в ночь, потом чуть дальше, в бурлящие огни города, а уж затем, минуя их, снова в ночь, сдавленную углами небоскребов. Мадорский любил, когда темнота смешивалась с городским свечением, цельным, но, если разобраться, столь разным по своей природе: от теплого света окон городских квартир до холодной рекламной иллюминации, от округленных теней уличных фонарей до непрерывной фосфорной нити автомобильных фар. В этом смешении ему виделась вечная дисгармония между величием и спокойствием ночного космоса, который находился здесь, рядом, лишь открой окно, и суетностью возбужденного города, раскинувшегося у подножия его просторного пентхауза на семидесятом этаже роскошного манхэттенского небоскреба. Мадорский любил, лежа по ночам в пузырьчатой, бурлящей ванне, смотреть на эту смесь успокоенной ночи и мятежного города; на маленьком столике потрескивал льдом стакан со скотчем, комната затуманивалась и покрывалась паром, и только громадное, во всю стену окно было всегда прозрачно и свежо.

Здесь, в этой огромной ванной комнате, Мадорского по-

сещало чувство, что наконец-то он достиг изолированного покоя, смог оторваться от мелочности города, вознестись над ним и потому может теперь охватить его полностью, и для этого достаточно всего одной смелой мысли. Так оно и было: именно здесь, лежа в этой почти сросшейся с городом ванной, он разрабатывал и оттачивал свои самые хитроумные финансовые комбинации, те, которые принесли ему известность и деньги, много денег. Тогда он еще не знал, что денег может быть непростительно много, а успех – вызывающе поспешным, он лишь недавно догадался об этом. Но только после того, как понял, что за ним пошли.

Он всегда обо всем догадывался сам и всегда чуть раньше других, в этом и состоял залог его успеха – в предвидении. Вот и сейчас в его крупной финансовой компании еще никто ничего не заметил, даже матерые финансовые старожилы, но Мадорский уже месяц как знал. И теперь ему надо было отбросить всю шелуху, накипь, испуг и эмоции и остаться с сутью – только так он сможет выжить.

Все началось с внеочередной финансовой проверки. Дело было даже не в ее внезапности и доскональной тщательности, просто Мадорский сразу почувствовал скованность в воздухе. Он был знаток скованности, аналогичное напряжение исходило порой из финансовых рынков, тогда он продавал поднявшиеся акции и ставил на падение. Бывало, он ошибался, но редко, чаще, значительно чаще предчувствие не подводило его. Вот и сейчас он оказался прав.

У него были свои люди и в конгрессе, и даже в Белом доме: когда оказываешь влияние на экономику страны, всегда есть нужные связи, и Мадорский вышел на человека, связанного с ФБР. Тот позвонил ему с улицы, на случай, если телефоны Мадорского уже прослушивались, и они встретились в парке, и, хотя Мадорский подготовил себя к худшему, его все равно прошибла испарина, когда он узнал, что финансовый отдел ФБР пошел за ним и за его фирмой, предполагая в ее деятельности финансовые нарушения. Никаких нарушений не было, десятка два финансовых адвокатов следили за каждой операцией фирмы, но это не имело значения: его выбрали в качестве козла отпущения, каждые несколько лет кого-то выбирали, и вот теперь пришла его очередь.

Это тоже являлось правилом игры: государство делало вид, что оно заодно не с «финансовыми воротилами», которые платят, а с народом, который «выбирает». Ради этого кого-нибудь приносили в жертву; дело всегда получалось громкое, бывшего магната прятали за решетку на семь-десять лет, как бы он ни изворачивался, тратя миллионы на адвокатов. Но из-под тяжести насевшего государства не так-то легко вывернуться. Больше трех лет никто в тюрьме не проводил, но не в этом даже было дело, а в том, что он, Мадорский, не желал сидеть вообще ни одного дня. К тому же проходить через процесс разбирательства, суда и прочего унижения он тоже не хотел. Да и кто, находясь в здравом уме, захотел бы такого?

Он потянулся к стакану, сделал глоток: виски, легко отдавая дымом, поплыло по и так невесомому в воде телу. Мадорский глубоко вдохнул и опустил голову под воду, наслаждаясь теплом и истомой. Он давно уже все обдумал и сейчас в спокойствии ванной комнаты в последний раз проверял детали, чтобы еще раз убедиться, все ли предусмотрено и нет ли ошибки. Потом он вынырнул, вода потоком скатилась с густых волос; да, он все тщательно продумал, в этом тоже заключалась его сила, в тщательности расчета.

Так было всегда, даже четырнадцать лет назад, когда он приехал в эту страну нищим эмигрантом, даже тогда он чувствовал себя сильнее других. Да и потом, когда научился делать деньги, когда работал как каторжный, спал по четыре часа и пальцы порой начинали дрожать от напряжения, он и тогда знал, что сильнее. Все ему было в удовольствие: и бессонные ночи, и бесконечные логические расчеты, и тонны информации, которые заглатывала его вечно голодная память, и азарт, и победы, и даже поражения. Вот и сейчас он чувствует себя сильнее их всех. В принципе это даже смешно: они полагают, что он так просто сдаст им себя. Напрасно они так думают.

Мадорский сделал еще один глоток, последний, резко поднял сразу собравшееся тело и вышел на холодящий керамикой пол. Он набросил на себя халат, запахнул его и, не завязывая, подошел к окну. «Ну что же, пора», – сказал он вслух, и его голос прозвучал по-новому свежо, он даже не

сразу узнал его. «Вот и хорошо, – подумал Мадорский, – вот и хорошо».

Хью Гарднер сидел в своем большом, не очень новом, но все еще надежном «Бьюике» на Парк-стрит. Он всегда удачно выбирал место для наблюдения, вот и сейчас он отлично видел вход в этот самый дорогой небоскреб на Манхэттене, и ни одна мышь, не то что человек, не выскользнула бы из него не замеченной Хью. Он сидел уже три часа, наблюдая, но ему не было скучно, он отлично знал, что осталось два-три дня – и расследование будет закончено. Хью живо представлял, как он и еще двое коллег из ФБР поднимутся на семидесятый этаж, вызовут Мадорского и, предъявив ордер на арест, защелкнут на его руках наручники. Он представлял, как будет меняться выражение лица Мадорского от высокомерного, со скептической улыбкой до сначала изумленного, а затем, сразу, почти без перехода, растерянного и испуганного. Ах, как он любил этот переход и каждый раз, наблюдая его, знал, что вот опять восторжествовали закон и справедливость, а он, Хью Гарднер, является их карающей рукой. От этой мысли Хью улыбнулся, вытянул поудобнее ноги и нажал на кнопку рации.

– Рэндал, привет, это Хью. Не скучаешь?

– Нет, сэр. Да и когда скучать, все время на мониторы гляжу. Как вы там, не устали? – Из рации слышалось сочувствие. В принципе Хью не должен был сидеть в машине, сто-

рожа Мадорского, поскольку руководил всей операцией. Но он любил участвовать во всем сам, не считаясь ни со временем, ни с неудобствами. «Если хочешь, чтобы дело было выполнено хорошо, делай его сам», – часто вспоминал он слова Наполеона. К тому же Хью считал себя настоящим сыщиком, и ему нравилась каждая деталь его работы. Поэтому он всегда и побеждал. Вообще всегда.

– У вас кофе есть? – спросил Рэндал. – А то могу прислать Майкла.

– Не надо пока. Скажи лучше, как там наш птенчик поживает?

Рэндал сидел в офисе, снятом ФБР в небоскребе, стоявшем неподалеку. Хью бывал там не раз и с гордостью разглядывал гору подсматривающей и подслушивающей аппаратуры; на многочисленных мониторах квартира Мадорского высвечивалась как на рентгене.

– Стоит у окна в ванной. Халат не завязан. Приглядеться повнимательней? – раздался смешок. – Думает, наверное, как ему очередной миллиард оторвать.

Хью кивнул, соглашаясь. Его самого, да и всех его коллег веселил факт, что тот, кого они собирались не сегодня-завтра брать, ни о чем не догадывался и продолжал свою обычную, повседневную жизнь. Хотя они-то знали, что над ним нависло и что деньки его на свободе сочтены. Это здорово развлекало всех.

– Ладно, пусть балуется. – Хью тоже усмехнулся в ра-

цию. — Если он двинется куда, дай мне знать.

— Конечно, Хью, обязательно. Послушайте, если вам надо кофе или поесть чего, дайте знать, я Майкла пришлю.

— Спасибо, старина, — поблагодарил Хью, — но я и так уже от этого чертова сидения четыре фунта набрал.

— Ну, как знаете, — и Рэндал исчез в рации.

Хью снова задумался. Он не любил Мадорского, яро не любил. Странно, но к некоторым из тех, чьи дела он вел, он относился с уважением, даже с симпатией, но к этому русскому он испытывал отвращение, смесь брезгливости и презрения. Он знал про Мадорского все, он проштудировал его дело от корки до корки, а готовилось оно тщательно и включало в себя даже самые ничтожные детали.

Мадорский родился и вырос в России, закончил в Москве престижную школу, потом математический факультет университета. В двадцать пять он уже защитил диссертацию и как талантливый, многообещающий математик был приглашен в MIT в Бостон. Однако работать в науке, видимо, не планировал и поэтому, оказавшись в Америке, быстро устроился в фирму на Уолл-стрит; там всегда требовались люди, владеющие математическим аппаратом. Проработав три года, изучив теорию и практику финансовых рынков, Мадорский предложил руководству создать дочернюю компанию, специализирующуюся на продаже дешевых акций небольших компаний. К этому времени он уже проявил себя

толковым и энергичным сотрудником, и начальство пошло на риск, доверив двадцатидевятилетнему Мадорскому руководство новой компанией. Фонды, созданные русским, стали расти как на дрожжах, принося деньги вкладчикам и, прежде всего, самому Мадорскому.

Постепенно он полностью отделился от родительской фирмы, завладел контрольным пакетом акций и, постоянно расширяя спектр деятельности, успешно захватывал новые финансовые рынки. Правда, через шесть лет знаменитые фонды дешевых компаний, создавшие разгон для фирмы Мадорского, стали стремительно падать, вздутые цены лопнули, обанкротив тысячи вкладчиков. Именно тогда Хью, как один из специалистов отдела финансового расследования ФБР, заинтересовался фирмой Мадорского, очень уж пахло мошенничеством. Он стал собирать информацию и вскоре не без удивления узнал, что сам Мадорский избавился от искусственно вздутых акций незадолго до их катастрофического падения. Это наводило на размышления, и Хью стал копать.

Чем больше он узнавал, тем большую антипатию испытывал и к самому Мадорскому, и к его бизнесу. С первого взгляда все казалось чисто, но в деятельности русского отчетливо проявлялся цинизм дельца, единственным божеством которого, смыслом жизни, принципом существования являлись деньги.

Хью посмотрел на часы, прошло больше пяти часов, как

он выкурил последнюю сигарету, значит, можно закурить снова. Он бросал курить, и в последние два месяца перешел с полутора пачек в день на четыре сигареты, и теперь от каждой затяжки получал невероятное наслаждение. Он вытащил сигарету из пачки, повертел ее в пальцах, прикурил и смачно, блаженно затянулся, ощущая, как на секунду приятно затуманилась голова.

Да, он не любил Мадорского. Они были одноклассниками, но Хью родился и вырос здесь, в Америке, он знал правила своей страны, уважал и верил в них. Его родители были бедны, отец работал на заводе, мать была домохозяйкой, и они не могли платить за его обучение. Но он все же пошел учиться и закончил колледж одним из лучших. В нем присутствовало стремление и упорство, и, хотя ему никогда не приходилось легко, он не только преодолевал трудности, но и всегда играл по правилам. Это был его осознанный выбор. Потому что правила созданы людьми для людей, а честность в принципе и означает – жить в рамках правил.

Мадорский же являлся противоречием честности, издевкой над ней. Он, Хью, рыл зубами землю, чтобы получить образование, работал по выходным, взял кредиты, чтобы оплатить учебу, а потом годами выплачивал их. А Мадорский получил образование в чужой стране бесплатно, да еще какое, обогнав его, Хью, на несколько лет. Его пригласили в страну на время, чтобы развивать науку, а он остался навсегда и вместо науки занялся бизнесом. Да и каким бизнесом!

Его компания ничего не создавала, ничего не производила, не приносила вообще никакой пользы, занимаясь, по сути, только финансовыми махинациями. И что в результате? Хью получает пусть неплохую, но все же скромную зарплату, а состояние этого прищельца оценивается миллиардами, он кушается в роскоши, на него работают сотни людей.

Но не это даже главное. Для всех, кого Хью знал и уважал, для его родителей, друзей, для него самого каждый шаг требовал напряженного усилия. Потому что все они привыкли не только брать, но и отдавать, и это тоже правило, может быть самое важное, и именно оно сделало Америку великой. А Мадорскому все давалось легко, почти играючи. Он приехал в чужую страну, в его, Хью, страну, только брать и никогда ничего не отдавал. Но теперь он отдаст все, что забрал, и отдаст с лихвой. Конечно, он открыто не нарушал закон, но Хью знал, к чему прицепиться, и знал также, что не выпустит Мадорского, что задавит его. Пускай это называется местью или как угодно, для Хью его чувство имело только одно название – справедливость.

Зашипела рация, и через секунду раздался голос Рэндала: – Хью, проснитесь, птенчик куда-то намылился, костюмчик надел, пальтишко модное и даже шляпу. Чего это он последнее время стал шляпу носить, головка, что ли, стынет? Наверняка в клуб какой-нибудь заспешил. Все, выходит из квартиры.

– Спасибо, Рэн. – Хью оживился. – А то я замаялся на одном месте.

– Давайте, развлекитесь. Сообщите, если что нужно.

– О'кей, Рэн, давай отдохни пока.

Хью отлично видел, как из подъезда дома выскочил швейцар в бордовой ливрее и фуражке и тут же к подъезду подкатил лимузин Мадорского. Швейцар распахнул дверь подъезда, из него вышел русский, Хью узнал его по росту, осанке, походке, да еще по пальто и шляпе. Швейцар открыл дверь лимузина, дружески поприветствовал шофера, пожелал что-то сажавшемуся в машину Мадорскому, видимо, удачного вечера, и закрыл за ним дверь. Машина плавно вырулила на улицу «Пусть порезвится напоследок», – усмехнулся Хью, повернул ключ зажигания, и «Бьюик» медленно двинулся за лимузином.

Человек в одежде швейцара проводил взглядом проезжающий мимо «Бьюик», качнул головой, как будто в недоумении, и поспешил назад в вестибюль дома. Когда дверь закрылась, он зашел в вахтерскую комнату и, скинув бордовый китель, кинул его смуглому человеку, смотрящему телевизор.

– Все, Гарсиа, – сказал он с улыбкой, – моя смена закончилась, возвращаю униформу.

– Ну вот, мистер Мадорский, пяти минут не прошло. Нет чтобы часок поработать, чаевых насобирать, – засмеялся тот в ответ.

– Чаевые я все тебе оставил, – ответил Мадорский, взял стоящий у стенки чемоданчик и вышел. В костюме на улице было прохладно, он тут же поймал такси и попросил отвезти на железнодорожный вокзал.

«Все же обидно, что они выбрали меня», – думал он, откинувшись на спинку заднего сиденья.

Он считал себя большим американцем, чем все они: эта страна была построена такими, как он, людьми со свежей кровью и светлыми головами. Это они постоянно двигали страну вперед, создавая новое, прорывая рутину, не боясь неудач. Он-то, наивный, считал, что ему должны быть благодарны: он разрабатывал новые механизмы в сложнейшем финансовом мире, помогая вставать на ноги молодым, начинающим компаниям. Это он формировал экономику этой страны, финансируя новые технологии. Да, он зарабатывал на этом деньги, но так и должно быть в здоровом организме – развивая других, развиваешься сам. Конечно, не всегда все удавалось, бывали промахи, рынок непредсказуем, случалось, что его фонды падали, но и другие падали тоже. Зато его фонды быстрее восстанавливались, и те, кто не поддавался панике, в результате делали деньги. Потому что он никогда не спекулировал на доверии к себе. А они решили его приструнить, для них он так и остался чужаком, нуворишем-спекулянтom. Они живут здесь поколениями, но так ничего и не поняли ни про свою страну, ни про свободу. А жаль, он полюбил Нью-Йорк и свою жизнь в нем, и обидно

с ней расставаться.

Хотя, с другой стороны, что принесли ему успех, деньги? Измотанность и усталость, бессонные ночи, резь в глазах, механическую, просчитанную жизнь! А одиночество? Когда-то многое волновало его в жизни, а друзья появлялись не только затем, чтобы попросить денег. Когда-то девушки любили его безо всякой заведомой причины. Ведь в конечном счете у любви не может быть никакой другой причины, кроме самой любви. А сейчас? Как только женщины узнают в нем знаменитого Мадорского, финансового магната, корысть рождается быстрее любви. В результате он и сейчас один – изгой, вечный изгой. Как это ни парадоксально, но деньги привели его к банкротству, во всяком случае, личному. «Это банально, но деньги не приносят счастья. Нет, не приносят. – Мадорский не заметил, что говорит вслух. – Впрочем, деньги помогают решать технические проблемы». И он похлопал по чемоданчику.

– Что вы сказали? – спросил шофер с сильным индийским акцентом.

– Мы уже подъезжаем? – в свою очередь спросил Мадорский.

– Да, через пять минут будем, – ответил шофер.

«А все же здорово я их облапошил», – усмехнулся Мадорский. Неделью назад, разрабатывая свой план, он зашел в маленький студенческий театр и познакомился с актером, молодым симпатичным парнем, напоминающим его самого ро-

стом и осанкой. Тот быстро освоил походку Мадорского. В заранее условленное время актер поднялся на его этаж, но в квартиру не входил. Мадорский предполагал, что в ней установлены подслушивающие, а возможно, и подглядывающие устройства. В лифте он отдал актеру свое пальто и шляпу, а затем посадил в собственный лимузин. И эти кретины из ФБР клюнули на такой простейший трюк. Машина, которая следовала за ним последнее время, бодро поехала за лимузином. «Кретины! – снова подумал он. – За что им зарплату платят. Из моих ведь налогов. Так-то они свою службу несут, страну оберегают». И он усмехнулся.

На 52-й Вест Хью стало что-то смущать. Он и сам не мог объяснить причину своего беспокойства. То ли лимузин катил уж очень неспешно, то ли маршрут складывался слишком замысловато, но Хью начал нервничать. В конце концов он нажал кнопку радиации и услышал чуть хрипящий от помех голос Рэндала.

– Рэн, это Хью, слушай, пропеленгуй-ка нашего птенчика. Это была на редкость удачная операция, когда они подменили любимую ручку Мадорского, а писал он самым дорогим «Картье», на аналогичную, но с вмонтированным передатчиком. Сложность заключалась в том, чтобы достать в точности такую же ручку, а потом подсунуть ее Мадорскому взамен его собственной. Вся операцию разработал Хью: они заменили продавца в магазине, в который заходил Ма-

дорский, на своего сотрудника, и когда русский подписывал чек кредитной карты, другой их сотрудник на несколько секунд отвлек его внимание, и этого оказалось достаточно для подмены. Конечно, операция обошлась недешево, сама ручка стоила почти состояние, но зато теперь они всегда знали, где находится Мадорский.

– А что? – поинтересовался Рэндал. – Что-то не так?

– Да нет, все вроде в порядке, – ответил Хью чуть раздраженно, – просто чувство противное... В общем, лучше проверить.

– Конечно, о чем разговор. Подождите, я настрою аппаратуру.

Минуту в радиии тихо гудело, а потом снова возник голос Рэндала, теперь уже нервный:

– Вы где сейчас находитесь?

Хью уже знал: что-то не так, знал наверняка.

– На Сорок восьмой Вест.

– Черт, – выругался Рэндал, – он нас дурачит, он подъезжает к железнодорожному вокзалу. – Что делать?

– Не дурачит, а только пытается, – процедил Хью, со свистом разворачивая машину и резко набирая скорость. – Свяжись с полицией на вокзале, пусть его встретят и проследят, на какой поезд он сядет. Только скажи, чтобы незаметно, а то сам знаешь, сколько шума могут наделать эти бравые сержанты.

– Может, его взять прямо сейчас?

– Зачем? Он еще ничего плохого не сделал, подумаешь, на вокзал поехал. Во всяком случае, пока не сделал. Но скоро сделает. Вот тогда и возьмем. Делай, как я сказал, и не отключай рацию.

– Да, шеф, – ответил Рэндал.

Прошло минут пять, Хью гнал «Бьюик» на вокзал, хотя знал, что не успеет. Он сразу все понял: Мадорский оказался умнее и осмотрительнее, чем Хью думал о нем, он все знал и готовился к побегу. Единственное, чего он не учел, так это то, что его дело ведет Хью Гарднер, и это было ошибкой русского, непростительной ошибкой.

«Впрочем, как он мог знать обо мне? – Хью улыбнулся. – Нет, не мог. И это отлично, что он бежит. Нет ничего лучше, чем убегающий финансовый преступник. Это просто отлично!»

– Он сел на питтсбургский поезд, – раздался голос Рэндала. – Отправление через четыре минуты.

– Ну, конечно, – перебил его Хью, – он все просчитал.

– Да, – согласился Рэндал.

– Узнай, когда следующий поезд на Питтсбург.

– Я узнал, через час десять.

Хью выругался.

– А самолетом? – спросил он.

– Еще больше времени займет, – последовал мгновенный ответ.

– Ладно, тогда я гоню в Питтсбург. Если опоздаю, свяжись

с тамошними ребятами, пусть проследят, куда он двинется дальше, но только аккуратно.

– Да, сэр, конечно, все будет сделано.

Хью не успел. В Питтсбурге Мадорский переехал с вокзала в аэропорт и улетел в Миннеаполис. Самолет оторвался от земли на двадцать минут раньше, чем Хью вбежал в аэропорт. Хью вылетел следующим рейсом на полтора часа позже. В Миннеаполисе все повторилось: ему сообщили, что Мадорский вылетел в Анкоридж, на Аляске, при нем был только небольшой чемоданчик. Что в чемоданчике, неизвестно. «Конечно, известно, – подумал Хью, – деньги». Он ничуть не волновался, понятно, что Мадорский пытается скрыться, но это как раз хорошо, когда он его возьмет, тот расколется легко, как яичко. А в том, что русского возьмет именно он, Хью, в этом сомнения не было. Никакого! Убегая дальше, Мадорский все сильнее затягивал петлю, захлестнувшую его ноги. Хью оставалось только дернуть за веревку.

Самолет из Миннеаполиса в Анкоридж летел около пяти часов. Сотрудник полиции встретил Хью прямо у трапа.

– Мы упустили его, – сказал тот с ходу.

– Что? – не поверил Хью и подумал, что нельзя доверять полиции. Он всегда знал это.

– Мадорского ждал одномоторный самолет. Пилот из местных. Мы навели справки. Хотите?

– Позже, – буркнул Хью.

– Они вылетели два часа назад. Мы не знали, что делать, и связались с вашими людьми, но они сказали, чтобы мы ждали вас и ни в коем случае не арестовывали его сами. А больше мы ничего сделать не могли, не посылать же за ними другой самолет.

«Идиоты», – подумал Хью.

– А задержать его вы не догадались?

– Как? – Полицейский был в недоумении.

– Да как угодно! Сломать машину, продырявить бензобак самолета, да мало ли как – Хью покачал головой, зря он сказал это, с этими баранами спорить – только нервы портить. – Что же теперь делать? – подумал он вслух.

– Ждать, когда прилетит пилот, а потом расспросить его о маршруте, – посоветовал полицейский, думая, что вопрос обращен к нему.

Хью не выдержал.

– Да и так понятно, куда он летит! – заорал он. – Вы что, болван? Неужели вы не понимаете, что здесь граница с Россией.

– Но туда же нельзя перелететь, радары...

– Конечно, нельзя, – измотанный тупостью полицейского, прорычал Хью. – Он через границу и не полетит, он к ней подлетит. А перейдет ее на лыжах или снегомобиле с якутами, которые каждый день шастают туда-сюда. А там его ищи-свищи. Он ихний, русский, он растворится там. Понятно!

– Понятно, сэр, – послушно отчеканил полицейский. – Мы его упустили.

Хью опять качнул в раздражении головой.

– Это вы его упустили, я его еще не упустил. Приготовьте все летательные аппараты, какие имеются в распоряжении, соберите пилотов, я знаю, куда он полетел.

«Теперь я припишу Мадорскому еще и незаконный переход границы. Да еще с кучей наличных денег», – подумал он про себя.

– Нельзя, сэр, сейчас нельзя. Приближается снежный шторм, обещают, что через полчаса он будет здесь.

Хью опять выругался: ну не везет! Не мог же Мадорский подготовить и этот шторм тоже.

– Когда он пройдет? – спросил он зло.

– Синоптики обещают, часа через три-четыре.

– Всем быть готовым, – распорядился Хью.

После того как шторм утих, они вылетели и искали самолет всего какой-нибудь час-полтора. Сначала увидели фюзеляж, он лежал в стороне от крыльев, но это стало понятно позже: с воздуха крыльев вообще не было видно, так их занесло снегом. Хью почувствовал досаду, он не желал такого конца ни для Мадорского, ни для всего дела. Он дал сигнал, и пилот посадил самолет на лыжи, благо снег был плотный. В кабине разбившегося самолета нашли одно тело, оно было пробито штурвалом и примерзло к нему, так что потребовалось время, чтобы оторвать его и заглянуть в лицо. «Это

летчик, – вздохнул полицейский, кивнув на труп, – слишком сильный шторм, такой маленький самолет не мог пролететь через него, вот и потерял управление».

Стали искать тело Мадорского. Сначала думали, что от удара его выбросило через стекло фюзеляжа, он мог отлететь метров на десять-пятнадцать, а потом его занесло снегом. Вызвали людей с поисковыми собаками. Ньюфаундленды своими носами прочесали все пространство вокруг, но ничего не нашли. Все устали, пора было возвращаться. Хью прикидывал: что могло произойти, где тело Мадорского? – но не мог сообразить. Пилот его самолета подошел к нему, предложил сигарету, Хью с жадностью втянул в себя дым, он не курил уже часов десять.

– Как вы думаете, где может быть второй? – спросил Хью.

Пилот прищурился, он был уже немолод, с красным, обветренным лицом, резко прорезанным морщинами у глаз.

– Удар при падении был несильный, видите, как лежит фюзеляж? Его долго тащило по земле, потому и крылья пообломались. Летчику не повезло, налетел на штурвал, но тот, кто сидел сзади, мог выжить. Он мог пойти пешком в поисках помощи, но в такой шторм далеко не уйдешь, наверняка замерз, а тело занесло, вариантов нет. Летом снег спадет, найдется. А сейчас искать бесполезно, он мог уйти в любую сторону на километр, а то и больше, да и снега нанесло. Тут до лета искать будешь, проще подождать.

Хью молча сплюнул, швырнул окурок в снег: он готов бро-

сидеть курить, от этой сигареты он не получил никакого удовольствия, только во рту стало противно.

Три раза летал потом он на это место. Первый – тем же летом, как только сошел снег, Хью и еще дюжины две людей обшарили пространство радиусом в два с половиной километра, но, кроме чемодана, так ничего и не нашли, он действительно лежал метрах в сорока от самолета. Хью оказался прав, в нем и в самом деле находились деньги: четыре миллиона долларов сотенными бумажками. Но тела не обнаружили, и это не давало Хью покоя. Он снова полетел на место катастрофы в конце того же лета и еще более тщательно изучил этот участок, метр за метром, и опять ничего. На следующий год ему сообщили, что тело нашли, вернее, то, что осталось, и он снова полетел, но место было не то, километрах в шести от аварии, к тому же последующая экспертиза установила, что погибший – местный охотник, сухенький, невысокий якут, а не крупный, рослый Мадорский. Хью хотел организовать еще одну экспедицию, но дела не позволили, да и начальство смотрело на поиски уже с удивлением, видя в них излишнее упорство сотрудника, а никак не служебную необходимость.

Прошли годы. В возрасте пятидесяти четырех лет Хью Гарднер вышел в отставку. Он считался одним из самых удачливых и уважаемых сотрудников ФБР, ему не раз предлагали консультировать крупные корпорации по вопросам

промышленного шпионажа, но он не хотел.

К чему? Пенсия у него была приличной, но главное, он думал о деле, которое не давало ему покоя. Дело Мадорского, единственное, которое Хью так и не раскрыл до конца. Предательское сомнение, подлая червоточинка мучили его все эти годы, ему мерещилось, что Мадорский обошел его, переиграл, просчитал на шаг вперед, и сейчас сидит где-то, и посмеивается над ним, Хью, над которым никто и никогда не смеялся.

Он представлял лицо Мадорского, сытое, холеное, самодовольное, подернутое высокомерной усмешкой, с хитрым смеющимся взглядом, направленным на него, внутрь его. Эта было невыносимое наваждение, оно преследовало Хью постоянно, особенно по ночам, Хью гнал его от себя, ведь он сам видел аварию, разбившийся самолет. Но, с другой стороны, тела-то так и не нашли, говорил он себе, а раз тела нет, значит, дело не закрыто. И он решился на последний шаг. Он давно о нем думал, а сейчас решился. Он сыграет ва-банк.

Этой осенью Хью снова отправился в Анкоридж. Прилетев, он взял напрокат двухместный одномоторный самолет (он давно умел управлять такими машинами), снял номер в гостинице и стал ждать. Прошло больше двух недель, прежде чем он услышал, что к вечеру ожидается сильный снежный шторм. Хью готовился именно к такой погоде. В три часа дня он поднял самолет в воздух. Все, кто оставался на аэродроме, смотрели на него, как на сумасшедшего. Хью летел к ме-

сту, где когда-то разбился Мадорский, он смотрел на приборы, сверяя местонахождение, и думал, что единственно главным, что осталось для него, был этот спор между ним и Мадорским. «Никого и ничего больше нет между нами. Ни денег, ни закона, только я и он, мое эго против его, если он жив, конечно. Так ведь, в конечном итоге, всегда в жизни, – повторил он про себя, – одно эго против другого. И больше ничего нет. Только эта единственная борьба, которая и есть жизнь».

Шторм налетел внезапно. Хью был готов к нему, но он не ожидал такой устрашающей силы. Мгновенно стемнело, и тут же самолет смяло и повело, как легкую детскую игрушку. «Вот оно», – только успел подумать Хью. Он еще попытался посадить машину, но ту встряхнуло до основания и бросило в сторону, Хью взглянул на приборы – где земля? – и в этот момент раздался страшный треск. Он даже не почувствовал боли, просто все мгновенно перестало существовать.

Он так и не открыл глаз, хотя сначала он все же чувствовал холод, жгучий, режущий холод. А потом даже сквозь закрытые веки, сквозь исчезающее сознание различил сильный проникающий свет, как будто в него в упор светили мощным прожектором, а потом голоса, но он не мог разобрать слов, только голоса. И тут ему стало хорошо, его ничего не беспокоило, наверное, он заснул. И, видимо, спал долго.

Когда Хью очнулся, первой его мыслью было, что он жив, и это даже не так обрадовало его поначалу, как удивило. Только позже, оглядевшись, он увидел белые стены аккуратной комнаты, приборы на столах, рядом с ним стояла капельница, это он понял и тут же догадался, что он в больнице. Пришла сестра, обрадовалась, увидев его в сознании, сказала, что они ожидали, что он придет в себя, никаких серьезных повреждений нет, он будет скоро здоров.

– Как долго я находился без сознания? – спросил Хью.

– Не нервничайте, – ответила сестра. – Вам нельзя нервничать. – Она была хорошенькая, и белый халатик шел ее светлому личику и рыжим волосам, собранным в пучок. Ей было лет тридцать пять. «Я бы мог начать за ней ухаживать», – подумал Хью.

– Я не нервничаю, – ответил Хью как можно спокойнее, – я хотел бы знать, как долго я был без сознания.

– Я не понимаю, о чем вы спрашиваете, – ответила сестра смущаясь, и Хью понял, что она говорит правду.

– Хорошо, – Хью решил начать все сначала, – какое сегодня число?

– Что вы имеете в виду? – снова удивилась сестра.

Только сейчас Хью заметил, что она говорит с легким иностранным акцентом, наверное, европейским, подумал он, но с каким, понять не смог.

– Я имею в виду, какой сегодня день недели, число, какой месяц, черт возьми, в конце концов?

– Вы опять нервничаете, а вам нельзя. Я позову реабилитационного специалиста, возможно, ему удастся вам помочь.

Через полчаса в палату вошел мужчина средних лет с аккуратной бородкой, в очках. Он так искренне улыбался, что, казалось, действительно был рад видеть Хью живым и невредимым.

– Ну, как вы? Очнулись, и слава богу, – заспешил он. – А мы-то все переволновались. Правда, врачи говорили, что ничего страшного.

– Где я нахожусь? – строго спросил Хью, ему не понравилось, что с ним говорят, как с ребенком.

– Послушайте, – начал мужчина, не переставая улыбаться. – Всего я вам не скажу. Я знаю, у вас много вопросов, но на некоторые из них у меня просто нет ответов. Вы должны набраться терпения. Вас нашли в трехстах милях от города, там снега и страшный холод, к тому же, как мне сказали, был ужасный шторм. Наш контрольный отряд всегда облетает эти места во время штормов. Самолет, которым вы управляли, разбился, и вас вытащили из-под обломков. Это все, что я могу сказать.

– Мне необходимо позвонить в Нью-Йорк, – сказал Хью. Он ничего не понимал.

– Куда? – переспросил мужчина.

– В Нью-Йорк! – почти приказал Хью.

– У нас нет такого района, – ответил мужчина и, остановив движением руки пытавшегося возразить Хью, продолжил: –

Послушайте меня, я не знаю, откуда вы к нам попали. Возможно, здесь многое покажется вам иным, отличным от того места, где вы жили. Вам надо адаптироваться, привыкнуть. Не спешите, вы во всем разберетесь. Когда вас выпишут, приходите по городу, посмотрите вокруг. С вами встретится человек из департамента адаптации и все расскажет. Все будет хорошо, – он хлопнул Хью по плечу, – вам повезло, что мы вас нашли. Вы всего лишь второй такой счастливчик.

– А кто первый? – тут же спросил Хью, и сердце у него прыгнуло.

– Не спешите, еще все узнаете, – улыбнулся мужчина и кивнул ободряюще, прощаясь.

Когда Хью выписывали из больницы, ему вернули все его личные вещи, в том числе и небольшой пистолет, который он всегда носил с собой в кобуре под левой подмышкой. То, что пистолет не отобрали, а вернули, как обычную, ничего не значащую вещь, удивило Хью, но он не подал и виду. Единственное, чего недоставало, были часы, но Хью даже не стал спрашивать о них, он понимал, что скорее всего они разбились при аварии. «Ничего, – подумал он, – куплю новые». Все тот же мужчина, которого он видел два дня назад, передал ему ключи от квартиры и дебитную карточку.

– Вообще-то, – сказал мужчина, – необходимые вещи, такие, как продукты питания, жилье, транспорт, медицина, у нас бесплатные, но за экстра – автомобили, вино, рестораны – за это надо платить. Этой карточки вам хватит на первое

время. Как я уже говорил, с вами встретится человек из департамента адаптаций и расскажет обо всем остальном.

— Куда и когда мне надо прийти? — задал Хью четкий вопрос.

Мужчина опять улыбнулся.

— Никуда вам идти не надо, — успокаивающе ответил он, — этот человек вас сам найдет.

— Когда? — снова спросил Хью и увидел растерянность на лице собеседника.

— Что? — переспросил тот, но тут же поправился: — Я не знаю. Он найдет вас, — и неопределенно махнул рукой в воздухе.

Хью наполняли противоречивые чувства. Он ходил по симпатичному городу с двориками, полными ярких цветов, с чистенькими улицами, по которым ездили открытые трамвайчики, и не мог избавиться от ощущения приторной искусственности, окружающей его. Он привык к толкотне, вечной нехватке времени, к суете, к спешащим, полным забот людям, к мчащимся автомобилям, к их гудкам. Здесь же никто не спешил, на лицах прохожих не было и следа утомленности, наоборот, они казались расслабленными и улыбчивыми. Люди останавливались поговорить прямо на улице, беззаботно болтали в кафе, многие здесь же играли в шахматы. Хью никогда не видел столько читающих людей: за столиками в кафе, на скамейках в парках, прямо на траве. Погода

тоже удивляла. Если он не пролежал без сознания больше полугода или не попал в Австралию, то здесь сейчас должна быть зима, но царило лето, да еще какое – нежное, теплое, с ласковым, почти незаметным дуновением ветерка.

Хью долго бродил по городу, а день не кончался. Все так же светило солнце, воздух радовал теплом и свежестью. Он нашел свою квартиру, она была небольшая, но очень уютная, приятно обставленная, с удобной красивой мебелью, даже цветы стояли в вазе на столе. Хью, недолго думая, лег на диван и заснул.

Он не знал точно, сколько спал, но когда проснулся, солнце по-прежнему стояло высоко, казалось, ничего не изменилось с того момента, как он заснул, – то ли он спал всего час, то ли, наоборот, проспал целые сутки. Хью принял душ и снова вышел на улицу. Он выбрал маленькое, симпатичное кафе, столики, половина из которых были заняты, стояли прямо на улице, на широком тротуаре. Хью заказал кофе, салат и жареную говядину в винном соусе и, уже предполагая ответ, спросил у официанта, где поблизости можно купить часы. «Мои испортились», – сказал он, взглядом указывая на кисть руки.

– Простите? – спросил официант, он остановился у столика и был не против поболтать, как будто и не находился на работе вовсе. – Что вы хотели купить?

– Часы, – повторил Хью терпеливо.

– Ча-сы, – тяжело выговорил официант, немного коверкая

слово, — я, право, не знаю, о чем вы говорите. — И он посмотрел на Хью с удивлением. — Вы сами-то знаете, что это такое?

Хью поморщился, он не хотел вести этот ненужный разговор, он хотел есть.

Он уже покончил с салатом и мясом и сидел, откинувшись на стуле, наслаждаясь ароматным кофе и развлекая себя картинками безалаберной городской жизни. Солнце все так же светило, ему казалось, что с того момента, как он проснулся, оно не сдвинулось с места и висело все в той же точке. Хью вдруг охватило благодушие — ему некуда было спешить. День выдался чудесный, спокойствие, распространенное в воздухе, наконец вошло и в него. Он уже решил попросить у официанта газету, может быть, с ее помощью он сможет что-либо понять, но в этот момент почувствовал, как кто-то взял его за плечо. Хью поднял голову и обернулся. Перед ним стоял высокий, интересный человек, модный светлый пиджак хорошо сидел на его стройной фигуре, доброжелательная улыбка шла его открытому, умному лицу.

— Вы Хью? Я работаю в департаменте адаптации. Разрешите присесть? — Хью кивнул, у него закружилась голова, все расплылось, как в тумане, ему на секунду показалось, что он выпал из реальности. «Так не бывает», — успел подумать он. Но когда туман рассеялся, а лицо человека с живыми, полными участия глазами по-прежнему было перед ним, Хью захлестнула волна радости. Он понял, что все происходящее вполне реально, что просто ему небывало повезло,

а когда понял, незаметно повел левым локтем, нащупывая твердость пистолета, как всегда висевшего сбоку в кобуре. Перед ним стоял Мадорский.

– Да, да, конечно, – сказал Хью хриплым голосом, жестом приглашая гостя сесть. – Простите, ваше имя?

– Саша. – Хью удивленно поднял глаза. – Просто Саша. Здесь не пользуются фамилиями, а формальности не имеют смысла.

– Как вы меня нашли? – снова спросил Хью.

– О, в этом месте легко найти каждого. А потом, вы сильно отличаетесь от всех остальных, вас нетрудно вычислить.

– Чем же? – поинтересовался Хью.

– Озабоченностью и, – Саша помедлил, – ошибочным знанием.

– Вот как, поясните, пожалуйста.

– Разумеется, я для того и здесь, чтобы все вам пояснить. Хотя мой рассказ вам поначалу покажется необычным.

Хью кивнул. Он не спускал с Мадорского глаз, несомненно, это был он, но что-то новое появилось в его лице и манерах. Он похудел, стал стройнее, да и улыбка изменилась: из ироничной, высокомерной и даже брюзгливой стала искренней, а лицо утратило желчность и выражение снисходительного превосходства.

– Итак, – начал Саша, – вы, наверное, уже заметили некую странность этого города? Хотя он ничем не отличается от любого другого. За одним, впрочем, исключением. – Саша

выдержал паузу – Здесь нет времени. – Он посмотрел на Хью и убедился, что тот не понимает его.

– Видите ли, для вас «время» – это привычное физическое понятие, которое вы усвоили с детства: минута, день, год. Но ко «времени» они не имеют никакого отношения.

Что такое минута, час, день, год? Это всего лишь угол поворота Земли относительно Солнца. То есть, повторяю, это угол поворота, а не время. То, что люди понимают под временем, всего лишь связано с цикличностью: день и ночь, завтра и вчера – это все циклы, а не время. Но ошибка эта так прочно вошла в сознание людей, что они свыклись с ней и приняли как аксиому. Как что-то само собой разумеющееся.

– А что же тогда «время»? – спросил Хью.

– Время – это выдумка.

Саша заметил, как брови Хью удивленно приподнялись.

– Понятие времени выдумали сами люди, им требовалась цикличность. Надо было сеять, и жать, и спать ложиться, и просыпаться. И вообще, надо было четко организовать жизнь, и для этого они выбрали самые простые циклы: день-ночь, зима-лето. Разбили их на часы, минуты и придумали время. Парадокс, однако, заключается в том, что позже люди сами подчинили себя ими же выдуманному понятию и приняли его не как удобную, искусственно созданную условность, а как часть действительности. И стали жить в рамках времени.

Вы никогда не задумывались, почему в Библии люди по-

началу живут так долго? – Хью отрицательно мотнул головой. – Потому что тогда еще не было придумано время и люди не мерили свою жизнь годами и десятилетиями. Они просто жили в соответствии с возможностями своего организма.

Подошел официант, Саша заказал минеральной воды.

– А теперь я продолжу под другим углом. В начале века жил физик и философ Филипп ван Клорнен, он и выдвинул концепцию отсутствия времени, где утверждалось, что время – это искусственно введенная величина. Тогда-то он и задумал этот проект. Помните, существовала такая модная теория, что где-то на севере, рядом с Полярным кругом, есть земля, где всегда тепло. Причиной для такой гипотезы служил факт, что некоторые породы птиц зимой улетали из России не на юг, как все другие, а на север. На эту тему были написаны книги, я помню одну, «Земля Санникова» называлась. Голливуд ставил приключенческие фильмы, даже отправлялись экспедиции на поиски этой земли.

– Но ее так и не нашли, – произнес Хью, – я знаком с гипотезой. Фантастика, даже не очень научная.

– Это неверно. Землю нашли, просто находку мгновенно засекретили. Это оказался невероятного размера оазис в центре снегов, такой вечно работающий подземный реактор естественного происхождения. Профессор ван Клорнен пользовался тогда большим влиянием, он и добился осуществления своего проекта именно на этой земле. Да и где еще? Здесь сама природа отменила привычную циклич-

ность: близость к полюсу уничтожила стандартный переход из двенадцатичасового дня в двенадцатичасовую ночь.

Саша отпил воды из стакана, видно было, что он делает это с удовольствием. Хью слушал его, хотя ему было неважно, что говорит Мадорский. Важно было, что он, Хью Гарднер, старый безупречный сыщик, оказался еще раз прав: Мадорский был не только жив, но и сидел перед ним, лицом к лицу. А значит, никто так и не обошел Хью и никогда уже не обойдет. Потому что какими бы умопомрачительными теории Мадорского ни казались, но Хью-то знает, что скоро доставит русского в наручниках в Вашингтон, а там пусть разбираются, существует время или нет. Сейчас он может и послушать, конечно, к чему спешить? Ведь так приятно смаковать свою победу, самую долгожданную в его жизни. Только что же изменилось в лице Мадорского? – Хью пытался понять и по-прежнему не мог.

– В общем, – продолжал Саша, – у ван Клорнена была своя школа, свои последователи, около тысячи учеников, и они вместе с семьями переехали сюда и с тех пор живут без времени. Сменилось несколько поколений, население резко возросло, но люди не знают о времени, они вообще не подозревают, что существует такое понятие «время». В результате здесь нет часов, нет календаря, и никто не подчиняет себя внешним, искусственно привнесенным требованиям. Люди едят не когда у них отведено время на обед, а когда появляется потребность в пище. Так же и со сном, и с работой. Так

со всем. Здесь нет договоренных встреч и нет опасности на них опоздать. Нет рабочих пятиминуток, потому что нет самой «минуты», и обязывающих графиков, потому что не к чему график привязать.

Я могу привести еще множество примеров, – продолжал Саша, – но главное – это то, что люди, освободившись от времени, избавились от вечно довлеющей обязанности втискивать свои дела, потребности, удовольствия в строго выделенный, ограниченный отрезок времени. В результате исчезла обуза постоянного стресса, нервозности, страха опоздать, не успеть. Выяснилось, что и социальная свобода возможна лишь как следствие свободы физиологической, позволяющей человеку жить в соответствии с его внутренним режимом. Поэтому именно внутреннее раскрепощение рождает полную свободу, которую в обычном обществе закалило время.

– Ну и как же функционирует такое общество? – поинтересовался Хью. – Как люди работают, как дети ходят в школу? По какому графику отправляются, например, трамваи, если отсутствуют расписания? Без времени общество должно распасться.

– Да вот не распалось. Здесь действия вызваны не расписанием, как вы правильно заметили, а событиями. События заменили время. Поэтому трамвай отходит, когда в него садится достаточное количество пассажиров. К тому же никто не спешит. Посмотрите, вон то, соседнее, кафе закрыто, по-

тому что хозяин его, наверное, спит. Но наше кафе открыто, оно для тех, кто сейчас бодрствует. Так же и с магазинами, с врачами, со всеми другими сервисами. Конечно, есть более сложные организации, но и там нашли свои методы, люди обмениваются электронными сообщениями, записками. В общем, общество подстроилось и отлично функционирует.

К столику подошла молодая девушка. Саша встал, поцеловал ее в щеку, она нежно обняла его за шею. «Она любит его, – подумал Хью, – это видно по ее глазам. Но это даже к лучшему, ему есть что терять».

– Я уже заканчиваю, – сказал Саша девушке, – ты иди, я тебя в парке догоню. – Она улыбнулась Хью и отошла. – Моя невеста, – пояснил Саша, – мы скоро поженимся.

И вдруг Хью понял, что смущало его в лице Мадорского, какую перемену он пытался найти в нем и не мог. Последний раз он видел Мадорского двадцать пять лет назад, но тот не только не изменился, а даже помолодел, он и выглядит лет на тридцать, не больше. Там, дома, Хью считался еще ничего, в форме, но только теперь, смотря на Мадорского, он понял, как сильно постарел. И тут все та же подлая мысль снова завладела Хью, мысль, что Мадорский все же обошел его, обхитрил, обвел вокруг пальца. Хью захлестнула злоба, ему стало тяжело дышать. «Ну ничего, – опять подумал он, – недолго осталось».

– Сколько вам лет? – спросил Хью.

– Видите, – Саша улыбнулся, – вы по инерции подстав-

ляете прежние понятия. «Сколько лет?» – спрашиваете вы. Да нисколько! Здесь нет возраста. Вы спросите, стареют ли люди? Да, стареют, но не как в вашем мире, когда в семьдесят человек считается пожилым. В нашем городе старение происходит у каждого по-своему, и оказалось, что люди, освобожденные от обязанности стареть в определенные годы, стареют менее интенсивно.

– Так что же, – подумав, спросил Хью, – значит, если вообще нет времени, то нет ни будущего, ни прошлого? – Хью неслучайно спросил про прошлое, он хотел плавного перехода. Но Саша не заметил иронии.

– Есть много моделей, мне нравится одна из них. Представьте, что вы сплавляетесь по реке на плоту. Мимо вас мелькают поля, луга, вы никогда не видели их прежде. Вы плывете дальше и проплываете деревню, видите, как стадо пасется на лугу, женщина стирает белье в реке, подоткнув подол юбки, мужики сидят на берегу, ловят рыбу. Все это существует, когда вы это видите. Но было ли оно до того, как вы увидели? Вы не знаете, как не знаете, останется ли эта деревня после того, как вы ее проплывете.

Когда вы еще не доплыли до нее, она ваше будущее, когда вы в ней – настоящее, а когда вы оставили ее позади, она становится прошлым. Может быть, так же и устроено время, возможно, оно сродни пространству с той лишь разницей, что движение в нем возможно только в одну сторону. Но ведь и по реке невозможно плыть на плоту против течения,

особенно если нельзя оттолкнуться от дна шестом, так как дно недостижимо. А если это так, то время имеет событийную основу. Не минута сменяет минуту, как вы привыкли, а событие сменяет событие. А если нет события, то и время недвижимо. Ведь если вы ухватитесь за свисающую над водой ветку дерева и придержите плот, деревня и будущее, с ней связанное, отодвинутся.

И еще. Возможно, что настоящее не перестает существовать даже после того, как оно переходит в прошлое. Так, в деревне, оставшейся позади нас, иными словами в нашем прошлом, жизнь будет продолжаться, хоть наш плот и проплыл мимо. Только нам туда не вернуться. Я, конечно, все сильно упрощаю, сравнивая реку со временем, но ведь еще у древних время представлялось как река, река Лета.

– А чем вы здесь занимаетесь? – резко спросил Хью. Он давно подготовил этот вопрос.

– Работаю в департаменте адаптации, как вы знаете, и читаю математику в университете. А еще выращиваю цветы, здесь все этим занимаются, климат способствует. – Саша улыбнулся.

– Значит, вы больше не обворовываете людей, как когда-то делали в Нью-Йорке двадцать пять лет назад? Или по-прежнему обворовываете? Ведь, исходя из вашей модели времени, прошлое не исчезает. Если я вас правильно понял. – Хью усмехнулся, он хотел ошеломить Мадорского, и тот действительно выглядел удивленным.

– Так вы знали меня по той жизни? Ха, вот ведь совпадения, это ведь отлично... – начал было Саша, но Хью перебил его:

– Послушайте, Мадорский, перестаньте валять дурака. Меня зовут Хью Гарднер, я был старшим инспектором ФБР. Это я вел ваше дело. Это от меня вы убегали и чудом убежали. Но только на время.

– Вы шутите!

– Нисколько. Ваше дело, кстати, не закрыто, и, когда я привезу вас в наручниках в Вашингтон, обещаю, что вы получите десять очень четких лет за решеткой. Тогда вы убедитесь, что время существует, и вполне конкретное, выраженное в годах, месяцах и днях.

– Хью, – Саша положил ладонь на его руку, – не горячитесь, не надо. Побудьте тут, поживите, и вы все по-другому увидите. В вас исчезнут злость и стремление быть сильнее других. Здесь нет времени, а значит, не с кем соперничать. Я знаю, со мной именно так и произошло. А теперь мне надо идти, меня ждут.

Он говорил с ним как с ребенком, и Хью на мгновение поверил, но только на мгновение. Саша стал подниматься из-за стола, но Хью остановил его.

– Хватит, Мадорский, сядьте. Довольно болтовни, мы сейчас же едем в аэропорт. Я надеюсь, что в этом чертовом городе найдутся самолеты?!

– Самолеты найдутся, – усмехнулся Мадорский, но не

сел. – А если я откажусь и не пойду с вами, что вы будете делать? Я ведь в лучшей физической форме, чем вы, вам меня не скрутить, да и люди здесь обходятся без насилия, так что они вас не поймут.

– Пойдете как миленький, – процедил Хью и, ловко вытащив из кобуры пистолет, направил его на Сашу.

Тот засмеялся, разглядывая Хью с пистолетом в руке.

– Вот это совсем глупо, Хью. Правда ведь, успокойтесь, мы встретимся еще раз и поговорим. А сейчас я должен идти, меня невеста ждет. – Он повернулся, но не успел пройти и четырех шагов, как услышал окрик сзади.

– Еще два шага, Мадорский, и я прострелю в вас две-три аккуратненькие дырки. Верьте мне, я неоднократно делал это раньше и легко сделаю еще раз. Вы очень рискуете сейчас.

Саша обернулся и посмотрел на Хью, тот действительно не шутил, это было видно по тонко сжатым волевым губам. Саша нехотя повернулся и пошел назад. Когда он склонился над столиком, Хью увидел, что его глаза смеялись. Это было невыносимо, Мадорский опять смеялся над ним.

– Я не могу сейчас объяснить вам это, – сказал Саша мягко, почти доверительно, – мне потребовалось бы влезть в толщу вопроса, но суть в том, что в мире, где нет времени, нет и насильственной смерти. Поверьте мне.

Хью видел, как он выпрямился, опять повернулся к нему спиной и пошел прочь. Он понял, что предупреждать бес-

смысленно, и еще он понял, что если не остановит Мадорского сейчас, то не остановит его никогда. А значит, победа навсегда останется за Мадорским. А этого быть не могло, он, Хью Гарднер, не мог так долго проигрывать одному и тому же человеку. И он нажал на курок. Потом нажал еще раз, а затем и третий – выстрелов не последовало. Это было непонятно: перед выходом из квартиры он тщательно проверил пистолет, тот не мог дать сбой.

Хью повернул оружие дулом в свою сторону, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Конечно же, он больше не нажимал на курок, как он мог, ведь он был опытным стрелком. И не мог же пистолет выстрелить с задержкой, он отлично знал, что не мог. Но это оказалось последним из того, что он знал. Раздался выстрел, потом второй, третий, Хью рухнул головой на уже кровавую скатерть.

К столику бросились люди. Саша подбежал первым. «Он находился еще там, где существует время, – прошептал он побелевшими губами. – Оно так и не отпустило его».

Я закрываю книгу и кладу ее на тумбочку к изголовью кровати, рядом с собой; мне хочется почитать еще, но я знаю, пора спать. Все же – и это моя последняя мысль перед тем, как заснуть, – какой чудной человек все это написал? Странный, чудной человек.

Просыпаюсь я рано. Утро обещает еще один солнечный день, но разве можно доверять утру? Впрочем, мне все рав-

но, какая мне разница, я всегда была равнодушна к погоде. Я готовлю на кухне свой утренний чай и думаю о том, что это первая ночь, когда я наконец-то хорошо спала. Мне ничего не снилось, и сейчас первый раз за долгое время я чувствую себя свежей и полной сил. Может быть, я выздоравливаю, а может быть, и тут я вспоминаю о книге, это она чьей-то чужой забавной мыслью успокаивает и заживляет меня.

Впрочем, все готово: и утро, и океан, и качалка на веранде, и даже чай, а раз все так удачно готово, я, как есть, в халате, спешу на веранду. Я приветствую океан, безумно-пенный сегодня, скорее «опененный», придумываю я слово, и мой взгляд и слух фиксируются на его шумном дыхании. Как же он красив, этот белый океан, думаю я.

Правда ли, что времени нет? – вспоминаю я вчерашний рассказ. Но тогда нет и прошлого. А ведь это прошлое привело меня к настоящему, к этому креслу, на котором мне так удобно сидеть, к этому дому, да и к этой книге тоже, с которой я так нелепо сейчас спорю.

Однажды в канун Рождества Стив пригласил меня на вечеринку, которую устраивала для своих сотрудников его кафедра. Мы ехали в машине, и я видела, как он меняется по мере того, как мы подъезжали. Его движения, обычно расслабленные, становились дергаными, лицо выглядело скованным, даже черный, строгий костюм сидел мешковато. Когда мы вошли в большой, освещенный яркими люстрами зал,

я даже одернула край его пиджака, пытаясь придать тому более элегантную форму. Стив обернулся ко мне, и я обомлела, я бы не узнала его, если бы сейчас встретила на улице. Я сразу поняла: глаза! Они были подернуты, даже лучше сказать запеленаты, пленкой, прозрачной, конечно, но не пропускающей ни свет, ни глубину. Теперь это стали самые обыкновенные светлые глаза, ничего не выражающие, тусклые, равнодушные, я ежедневно встречала десятки таких глаз. Я знала, что Стив, мягко говоря, не в восторге от своей работы, но не настолько же?!

– Расслабься, – сказала я, – все в порядке.

– А что, заметно? – спросил он, глядя на себя в зеркало и пытаясь принять более расслабленную позу.

– Я вижу.

– Тебе, конечно, видно. А вот им ни черта. Я каждый день такой. – Он помолчал и добавил: – Как я это все ненавижу!

– Зачем же мы поехали? – спросила я.

– Нельзя было отказаться, – ответил он и повернулся ко мне.

– Не комплексуй. Ты не хуже, чем все остальные, – подбодрила я его.

– Ну да, спасибо, куда уж хуже.

Мы ходили от одной группы людей к другой, Стив здоровался, пожимал руки, но почти не участвовал в разговорах, отделиваясь лишь односложными формальными ответами. В какой-то момент его остановил пожилой мужчина во фра-

ке и стал что-то рассказывать, почти задыхаясь от удовольствия. Стив смотрел на собеседника своим новым, ничего не выражающим взглядом, и я видела, что он не слушает, хотя и послушно поддакивает, кивая головой. Мне стало скучно, и я отошла в сторону. Мужчины смотрели на меня, я с самого начала ловила их взгляды, бросаемые украдкой от жен; я действительно была как из другого мира, в обтягивающем платье, красивая, с веселыми глазами, полная жизни и юности.

Я недолго оставалась в одиночестве. Рядом тут же оказался какой-то пижон, с бородкой, с шарфом поверх пиджака. Он с самого начала подчеркнуто демонстративно следил за мной взглядом, так, чтобы я обратила внимание.

– Вы со Стивом? – спросил он.

– Да. – Я кивнула.

– Я и не знал, что Стив дружит с такими красивыми женщинами.

– Про женщин я тоже не знаю, но с женщиной, надеюсь, всего с одной, он, как вы правильно выразились, дружит.

Он замялся, понимая промашку. Он был интересный, чего уж там? Высокий, представительный, статный, да и бородка придавала ему дополнительную привлекательность, но он мне не нравился, слишком вычурный, манерный, и этот шарф на шее, зачем ему шарф? – в комнате и без того было жарко. Он спросил, как меня зовут, я ответила.

– А меня зовут Роберт. Мы со Стивом старые товарищи.

Вы тоже занимаетесь лингвистикой?

– Нет, – я усмехнулась, – я не занимаюсь лингвистикой.

– А чем же?

Я ненавидела эти всегда одинаковые вопросы.

– Учусь на изобразительном, – ответила я, подавляя в себе раздражение.

– Правда? – У него чуть глаза не вылезли из орбит, так он обрадовался. – В нашем университете? Почему же я вас никогда не видел?

– Нет, не в вашем.

– Как жаль, как жаль, – сокрушался Роберт. – У нас ведь лучшая кафедра в городе, я сам там преподаю. Хотя это и звучит нескромно.

– Нормально звучит. – Я пожала плечами. – Так вы живописец, Боб? – Наверное, он почувствовал иронию в моем голосе, потому что сразу заерзал, как будто я поймала его на едва заметной фальсификации.

– Нет, я преподаю историю живописи и скульптуры. – Он потянулся в карман пиджака и достал трубку, видимо, для пижонства одного шарфа ему показалось мало. Но курить в комнате не полагалось, и он то крутил трубку в руках, то все же вставлял ее в рот, и тогда голос его менялся и становился немного брюзгливым.

– А... так, значит, вы не художник? – донимала я Боба в шарфе.

– Я, знаете ли, занимался живописью прежде, – признался

смущенный Боб. – Говорили, что делал успехи, но, знаете, жизнь художника такая, – он замялся, – как бы это сказать, необустроенная, что ли, в постоянной надежде на удачу. Семья поддерживать меня не могла, я не в претензии, я понимал... Конечно, это прагматизм, но, извините, кормиться тоже надо.

Когда он сказал «кормиться», пижонство покинуло его, и я впервые посмотрела на Боба как на живого, с жалостью посмотрела.

– Так-то вот. – Он как бы поставил черту.

– Но как же, – не согласилась я, – как же великие Пикассо, Дали, Модильяни, не говоря о более ранних – Ван Гог, Гогене, Лотреке?

Я уже говорила в сердцах, и не потому, что Боб вдруг стал симпатичен мне, а просто слишком важна была для меня затронутая тема. Я заканчивала учиться, и мне надо было выбирать, я не знала, стоит ли мне по-прежнему заниматься живописью или сменить ее на что-то более надежное.

– Ну да, – сказал Боб, – кто-то выбивается. Но если бы вы знали, Жаклин, сколько было других художников, не менее талантливых, и делали-то они все в те поворотные времена похожее, чуть разное, конечно, но близкое. И почему пробились именно одни, а не другие, непонятно. Наверное, везение, энергия, знакомства, просто стечение обстоятельств. Разобраться трудно, но, поверьте, это ведь моя профессия, множество хороших художников кануло в неизвест-

ность. Просто так, – он беззащитно развел руками, – не случилось почему-то... Да и те, которых вы назвали, все они, за исключением Пикассо и Дали, жили в нищете, пьянстве, болезнях. А Пикассо и Дали просто повезло: они жили долго.

– Неправда! – Я резко обернулась от неожиданности. Стив стоял рядом, я даже не заметила, как он подошел. – Слушай, Боб, чего ты туфту несешь, перед самым собой, что ли, оправдываешься? Все талантливое нашло себя и прошло сквозь время. Время отсеивает, талантливое всегда остается.

Боб даже вздрогнул от обиды, столько скрытой злости звучало в этих словах. Я посмотрела на Стива, я видела, как на мгновение прояснились его глаза, только чтобы выстрелить пучком злой энергии и тут же потухнуть снова.

– Нет, нет, Стив, – засуетился Боб, вертя в руках свою трубку, – ты не знаешь. Для того чтобы художнику реализоваться, недостаточно одного таланта. Надо еще обладать определенным темпераментом, что ли, специальным настроением, направленным на самоуничтожение, на... – он замялся, подбирая слово, – на саморазрушение.

Но Стив уже не слушал, ему было все равно, на что Боб направляет свой темперамент, и тот это тоже заметил и стал снова обращаться только ко мне.

– Надо стремиться именно к такой, шальной жизни, – продолжал он, – потому что она тоже часть возможного успеха. И если избегать ее, то в результате упустишь и успех. Надо как Модильяни, вы же знаете, Жаклин, как жил Модильяни?

Он пил, сидел на наркотиках и рисовал. Он знал, что умрет, у него развилась тяжелая форма туберкулеза, но он так хотел. Хотел разрушить себя. И умер-то, сколько ему было? – Казалось, Боб считает в уме и высчитал: – Лет тридцать пять.

Я обернулась, слышит ли Стив, но его уже не было рядом, я опять не заметила, как он отошел.

– Так что, Жаклин, – продолжал Боб, – надо иметь призвание к такой жизни, да еще и талант, да еще удачу. – Боб вспоминал, о чем он говорил раньше. – Ну, и обстоятельства должны быть на твоей стороне, и энергия, и... Черт знает, что еще должно быть, чтобы привело к успеху.

Я была согласна со Стивом, он выглядел жалким, этот Боб. Казалось, он пытается оправдаться, защитить себя от моих возможных нападок, хотя я и слова не произнесла. Я смотрела на этого пижонистого пошлого прагматика, и во мне поднималось раздражение и еще презрение, я, наверное, так на него и смотрела, с презрением.

– А у меня все это есть: и призвание, и талант, и удача! – отрубил я, и хотя получилось упрямо, с вызовом, но теперь-то понятно – глупо, по-детски. Чего было перед ним упрямство свое выставять?

Уже позже, в машине, по дороге домой, я все пыталась понять, почему я не смогла толково ответить Бобу. Может быть, я сама внутренне согласна с ним? – подумала я. И вправду, куда мне? Не для меня все это: грязь дешевых ком-

муналок, снятых на последние деньги, лишения, беспризорность, и все это ради высокой цели, которая, возможно, будет достигнута, а возможно, и нет.

Как гнусно даже думать об этом, перебила я себя, об этом ничтожном и жалком, и я сама жалка, как этот Боб.

Да, усмехнулась я про себя, может, я и талантлива, да таланта моего хватает только на то, чтобы рисовать в промежутках между постелью. Вот, наверное, в чем мой главный талант – в постели.

Я посмотрела на Стива, он молчал, его не мучили мои заботы, вообще не мучили. Он никогда не спрашивал о моих делах и ничего не советовал, он как бы самоустранялся, не участвуя. Вот и теперь, когда мне надо решать, продолжать ли заниматься живописью, он так ни слова и не сказал, как будто его вообще не касается моя жизнь. А может быть, действительно не касается?

– Скажи, – сказала я, – ты ведь знаешь, что я через месяц заканчиваю учиться?

Стив кивнул, соглашаясь. Меня раздражало его молчание.

– И мне надо решать, что делать дальше. Ты это тоже знаешь. – Он опять кивнул. – Возможно, быть художником – не для меня и мне надо выбрать что-нибудь другое, попроще. Почему ты молчишь, ведь это важно, мне нужен совет, Стив, мне нужна помощь. Слышишь? – Мне хотелось ударить его, так он раздражал меня.

– Я ничего не могу тебе посоветовать, – наконец сказал

он. — Я не хочу влиять на тебя. Это же понятно, — он пожал плечами, — цель любого совета — изменить того, кому советуешь. А я не хочу вмешиваться в тебя, ты мне нравишься, какая ты есть. Да и кто я, чтобы пытаться изменить тебя? — Он замолчал, а потом добавил: — Знаешь, единственное, что я могу сказать, — он повернул ко мне голову, — старайся избегать компромиссов. Не столько с людьми, с ними они порой хороши, избегай компромиссов с собой. За них придется платить. Рано или поздно, но приходится... иногда дорого... — Он замолчал, оборвав фразу на подъеме, так, как будто хотел сказать что-то еще.

Дорога петляла, к тому же начал накрапывать дождь, и сразу стало темно. Я смотрела на туманную, желтоватую колею, пробитую в темноте и вечно спешащую впереди машины, иногда подпрыгивающую и падающую беззвучно вниз, ударяясь, видимо больно, о неровности асфальта.

Я так и не послушалась Стива и выбрала компромисс, не испугавшись обещанной за него расплаты. Через две недели я подала документы на архитектурный, и шанс, тот единственный шанс, которым меня одарила природа, был ей возвращен неиспользованным.

Сколько раз я потом вспоминала пророческое предупреждение Стива, как будто он знал, что моя расплата не прекратится никогда. И дело вовсе не в том, что мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Наоборот. Но именно та игри-

вая легкость, с которой я так просто всего достигала, именно мой безусловный успех всегда предательски напоминали мне, что когда-то я ошиблась и глупо изменила главному, на что я, возможно, была способна, но к чему теперь невозможно возвратиться. Я никогда не простила себе эту измену, даже сейчас, когда ничего в принципе уже не имеет значения.

Мне становится холодно, плед на ногах потерял привычное тепло, и океанская сырость вкралась в его ворсяную плоть. Я хочу встать и, хотя расслабленная, легкая истома еще не отпускает меня, все же поднимаюсь и, захватив с собой книгу и еще чуть солоноватый запах вот этой, самой последней волны, иду в дом.

Я наливаю ванну и, брызнув туда чем-то елово-пахучим, так что появилась невесомая, в выпирающих пузырях пена, сбрасываю халат. В маленьком ручном зеркале отражаются ровные, плавные линии шеи, плеч, груди и ниже, пусть и обрезанная, пусть и ограниченная амальгамой, гибкая выпуклость живота.

– Все еще ничего, – говорю я вслух, разглядывая себя. Я поворачиваю плечами и бедрами, пытаюсь разглядеть себя в четверть оборота; вода рывками шлепается из крана в еще не заполненную ванну наполняя воздух теплотой и мягкостью жидкого пара.

Ну что же, я похудела, потеряла, наверное, килограммов шесть-семь, и, конечно же, мне надо бы поправиться, может,

не на все семь, но на пять не помешает. Хотя и так ничего. Худоба даже привносит – отчетливую стройность, что ли, и прозрачность, даже эта синева под глазами добавляет, создаст какую-то незавершенность.

Я переступаю край ванны, пробуя воду ступней. Мне нравится мое движение, в нем таится изящество: в распрямленной, с гибкими закруглениями ступне, в узкой, в ладонный обхват лодыжке.

– Сегодня я нравлюсь себе, – тихо говорю я.

Я ложусь, вода обхватывает меня, она не пытается завладеть мной, она лишь добавка, успокаивающая, лоснящаяся добавка к моему телу. Она входит во все доступные полости, ей нет запрета, но, растекаясь, она послушна – не давит и не требует. Я закручиваю кран, но не до конца, не полностью, оставив затихшую, струящуюся ниточку, балующую меня постоянно прибывающим теплом.

Книга моя лежит недалеко, на маленькой деревянной тумбочке рядом с полотенцем, которое я запасливо приготовила. Я протягиваю руку, она легко выскальзывает из воды, капли сползают с нее, отрываясь, и тонут в маленьком, уже замирающем водовороте. Я вытираю ладонь о полотенце, а потом дотягиваюсь до нелепого коленкорового переплета. Открываю, как всегда, где попало и, как всегда, где попало читаю.

Странно, будучи ребенком и даже потом, в юношеском возрасте, я боялся кладбищ. Если же попадал туда, то чувствовал неприятный осадок, даже некоторую брезгливость, наверное, от подсознательного страха перед скоротечностью и брэнностью жизни. С возрастом, однако, мое восприятие трансформировалось. Теперь я не ощущаю ни страха, ни зудящего неудобства, наоборот, приятную успокоенность. Видимо, с годами психика свыкается с тем, что смерть – это естественное продолжение жизни.

Не так давно я летел в Европу. Недели за две самолет, летящий по этому же маршруту, разбился, и я, привычный к перелетам, неожиданно почувствовал, что нервничаю. Сидя в салоне самолета, я вдруг вспомнил, как года четыре назад попал в снежный шторм в ночных Альпах: моя машина потеряла управление и крутилась, набирая скорость по откосу, и я был беззащитен и понимал, что, наверное, разобьюсь на смерть.

Я понимал, что крутящийся, предоставленный самому себе и ледяной дороге автомобиль может запросто сорваться в пропасть, к тому же внизу уже скопилась перемолотая куча разбитых машин, которая только и ждала, когда я влечу в ее раздробленные части. Сначала я пытался подчинить машину рулю и педалям, но все было бесполезно, и вскоре я оста-

вил бессмысленные попытки и только уперся крепче ногами в пол, ожидая удара.

Это бешеное скольжение продолжалось долго, секунд сорок, а может быть, и минуту. Я успевал думать и поймал себя на странной мысли, что не испытываю никаких чувств, кроме захватывающего, волнующего нетерпения: а что же там, дальше? Мне совершенно не было страшно, наоборот, отчаянно-восторженно от близкого присутствия мгновенной смерти, от балансирования на самой грани ее. Потом, когда машина, неистово крутясь, но так и не вылетев с дороги, наконец нагнала застывший в ожидании коромболяж и сотряслась от удара, оглушив меня скрежетом прорубаемого металла, и меня удержали ремни, и ничего со мной не произошло, так, несколько царапин, мне вдруг стало страшно. Страшно оттого, что я не испугался смерти, когда мог и ожидал умереть.

И вот, сидя в салоне самолета и вспоминая аварию в горах, я спросил себя: а что же изменилось и почему я сейчас боюсь куда как меньшей, даже статистически ничтожной опасности? Потому что, ответил я себе, в данный момент в моей жизни много незавершенного: я работаю над новым проектом, недавно возникшая любовь обещает продолжение, и именно боязнь не завершить, оставить незаконченным пугает меня сейчас. Когда же я болтался в неуправляемой машине в Альпах, моя жизнь находилась в состоянии замеревшей статики. Ничего в ней не ожидалось, ничего не было прерва-

но, ничего не требовало продолжения.

Я сравнил эти два различных своих состояния и догадался, что страх смерти определяется именно наличием незавершенного, то есть грядущего. Иными словами, незавершенное – и есть будущее!

Я удивлена тому, насколько это о Стиве. Он-то уж точно не боялся смерти, я знаю, я видела, потому, наверное, все так и случилось.

У Стива была яхта, давно, еще до того, как мы познакомились. Она не отличалась особенно большими размерами, но выглядела удобной и уютной, с мачтой и парусом, даже с каютой. Каюта была маленькой и тесной, с постоянно уходящим из-под ног полом, она давила замкнутым пространством, возможно, из-за пропасти океана вокруг, но именно это как раз и добавляло остроты ощущениям.

Яхта была пришвартована милях в двух от дома, за мысом в бухте, где она мирно покачивалась, подрагивая выставленной стоймя, бесстыже оголенной мачтой. Именно сюда, в этот дом и к этой яхте, мы и приезжали почти каждые выходные.

Мне нравились наши океанские вылазки: освежающие брызги, тугое напряжение паруса, лодка, резво разрезающая волны; я сама, просоленная, с развевающимися волосами, в тонкой, почти прозрачной от влаги майке, облепляющей мое гибкое тело; взгляд Стива, не отпускающий меня ни на се-

кунду. Мы уходили далеко от берега, его дымчатая кромка, лишенная жизненных форм, становилась лишь ориентиром. Сложно было даже предположить, что в этой утренне-туманной горизонтной линии сохранны спрятаны и наш дом с его комнатами, мебелью и подробностями вещей в шкафах, а за домом плотный лес, а за ним реки и озера, а затем города и много-много людей. Мы оставались одни в этом пустынном и необозримом океанском мире, и это было хорошо – нам никто не был нужен.

А потом наступил день, который я никогда не забуду и после которого я возненавидела и яхту, и все приключения, с ней связанные. Было раннее утро, мы только что проснулись в нашей городской квартире и собирались поехать на океан. Впереди были выходные, плюс праздник, всего три дня, и мы не спешили, завтракая свежими булочками и запивая их ароматным кофе.

И тут зазвонил телефон. Это само по себе было неожиданным, нам редко звонили и почти никогда – Стиву, у него было мало друзей, к тому же он патологически не переносил телефонные разговоры. Я взяла трубку, и мужской голос попросил Стива, не по имени даже, а по фамилии с официальной приставкой «мистер». Стив удивленно поднял бровь, я передала ему трубку и сразу почувствовала непривычную скованность в его голосе, да и в том, как он говорил, в сухости ответов, слишком односложных для обычного разговора. Обычно так отвечают, чтобы находящиеся рядом не поняли,

о чем идет речь. Сейчас рядом была только я. Стив говорил недолго, минуты три, и, когда он положил трубку, я ничего не спросила. Я думала, он сам все объяснит, но он ничего не сказал, и я почувствовала себя не в своей тарелке, мне показалось, что он что-то пытается скрыть от меня. Мы сели в машину и поехали, и уже за городом я спросила:

– Кто это звонил? – А потом, видя, что он продолжает молчать, добавила: – Тебе никто никогда не звонит.

– Да так, – наконец ответил он, – старый университетский приятель.

– Кто он такой? – Я сразу заметила, что он не хочет рассказывать, поэтому и настаивала.

– Знаешь, это неинтересно, я, конечно, могу рассказать, но скучно.

– Ничего, – сказала я, – я потерплю.

– Да правда, нечего. – Он все еще продолжал упираться.

– Слушай, – я начала нервничать, какая-то горячая волна душно захватила горло, – если ты не хочешь говорить, не говори, пожалуйста. Только не надо делать из меня дуру.

Стив развел руками:

– Да нет, правда, абсолютно скучная история. Даже и истории никакой нет. Ну что ты расстроилась, конечно, я расскажу, если ты хочешь.

– Кто звонил? – снова спросила я, видя, что он оттягивает объяснение.

– Мой бывший однокурсник. Мы с ним вместе учились,

даже дружили немного. Зовут его... – и Стив назвал имя.

Какое же это было имя? – я стараюсь сосредоточиться. Вода в ванне замирает вслед за моим телом. Я даже жмурюсь, настолько мне хочется вспомнить. Какое же он назвал тогда имя? Нет, не помню! Хотя какое это имеет значение? Мне хочется звука, я поднимаю руку, вода шелестит вниз, скатываясь с упругой, почти прозрачной кожи.

– Мы с ним дружили немного, – продолжил Стив, но как-то неуверенно, – пиво вместе пили. Он вообще-то неплохой парень, но слишком несчастный, знаешь, бывают такие неудачники. Учебу не закончил, бросил в самом конце, а потом не мог найти работу. Мог, конечно, преподавать в школе, но не стал. Насколько я знаю, взялся за литературу. Лет пять назад издал книгу рассказов. Она у меня где-то валяется, прислал мне по почте, даже с дарственной надписью на первой странице, хвастливой, конечно, но с пожеланиями. Кто-то говорил, что его рассказы печатали в журналах, но, как я понимаю, ничего особенного из него не получилось. В общем, я его несколько лет не видел и не слышал.

– А что он звонил тогда?

– Да черт его знает. – Стив пожал плечами. – Хочет встретиться, хочет вместе на яхте пойти.

– А ты что?

– Я сказал, что не могу, сказал, что занят.

Я вспомнила разговор, короткие слова «не могу» и «за-

нят» действительно присутствовали.

– Ты не очень мил со старыми товарищами. – Подозрение стало покидать меня, слова Стива звучали вполне правдоподобно. – Но ты так говорил с ним, мне показалось, специально, чтобы я не поняла.

Он протянул ко мне руку, обнял, притянул.

– Какая ты подозрительная! Хотя непонятно почему, я ведь никогда не давал повода. Это, видимо, от природы.

Я усмехнулась, может быть, он прав?!

– Да нет, просто мне не хотелось с ним разговаривать. Отказать ему напрямую вроде бы неприлично, но надо же было как-то дать понять. Вот я и отвечал как можно суше.

Я уж совсем успокоилась, но все же спросила:

– Я все-таки не понимаю: почему ты не захотел с ним встретиться?

– Я бы встретился, но, знаешь, он звонил из Калифорнии. Лететь три тысячи миль, чтобы приехать на пару дней? Странно это. Такой визит тянет больше чем на два дня, а проводить с ним месяц?.. У меня есть дела поважнее.

– Например?

– Ну как же, помнишь, что Гамлет сказал Гертруде, указывая на Офелию, – и так как я, конечно, не помнила, он продолжил почти без остановки: – «Здесь магнит попритягательней», – сказал Гамлет.

Я засмеялась, я поверила его рассказу, ну, если честно, то почти поверила.

Я пробую шевельнуться, я уже не чувствую воду, она стала естественной для моего тела, здесь, в водяной текучести, властвует плавность и одинокая, убаюкивающая отрешенность. Я чуть приподнимаюсь, вода послушно отпускает меня, и легкий ветерок вновь возвращает чувственность телу. «Не забывай, вода бывает и другой», – шепчу я себе.

Мы приехали в дом, но пробыли в нем недолго. Собрали нужные вещи, я стала переодеваться, достала шорты, кроссовки, но Стив остановил меня.

– Не надо, – сказал он, – останься, в чем есть.

Я оглядела себя. Я была одета совсем не для океанской прогулки: короткая, узкая юбка, туфли на высоком каблуке. Я вопросительно посмотрела на Стива, он улыбнулся мне в ответ, как будто знал что-то, чего не знала я.

– Сегодня я буду твоим слугой. Твоим капитаном, и матросом, и всем, чем ты захочешь. Представь, что ты на два дня наняла меня вместе с яхтой и я обязан прислуживать тебе и потакать во всем. Единственная твоя забота – наслаждение, единственная моя обязанность – доставлять тебе наслаждение.

Я засмеялась, я привыкла к его причудам.

– Я еще не в том возрасте, чтобы покупать услуги мужчин, я еще сама в цене, – проговорила я сквозь смех. – Но если это не окажется слишком дорого, я, пожалуй, согласна, особенно учитывая, что ты, дружок, – я подошла к нему и

шутливо потрепала по щеке, — такой милашка. — Стив ответил мне широкой улыбкой, так в старых фильмах улыбаются простодушные крестьянские парни.

— Мадам, — сказал он, — вы не пожалеете.

Весь его дурацкий вид был таким смешным, что я не выдержала и брызнула смехом.

На яхту Стив занес меня на руках, я бы сломала ноги, ступая по пирсу на каблуках. Потом он притащил из каюты большое широкое кресло и изящный сервировочный столик и, поставив на их палубу, заботливо усадил меня. Тут же появилось ведерко со льдом, а в нем шампанское, видимо, он заранее придумал эту игру и готовился к ней.

Через пять минут яхта уже скользила по воде, легко лавируя между немногочисленных суденышек, пришвартованных вокруг. День был солнечный и теплый, лучше и придумать нельзя, я сидела на носовой палубе, откинувшись в кресле, нога на ногу, с узким, длинным бокалом шампанского в руке. Конечно, я чувствовала себя непривычно: одетая в туфли и юбку, я была не членом команды, а именно, как говорил Стив, привередливой барыней, совершающей экзотический круиз.

Я смотрела на Стива, он тоже выглядел непривычно, действительно как нанятый матрос, босиком, в черных обтягивающих, расклешенных книзу брюках, в тельняшке. Он словно летал по палубе, что-то привязывая, прикрепляя, меня направление паруса. Казалось, что ему лет двадцать, не

больше, легкий в движениях, ловкий юноша, почти мальчишка, именно таким он казался мне сейчас. Несколько раз он подбегал ко мне, доливал шампанское в бокал, услужливо спрашивал: «Не нужно ли вам чего, мадам?» Он здорово вошел в роль и смотрел на меня с вожделением, не смея, однако, первым проявить инициативу.

Когда он подбежал в очередной раз, я осторожно взяла его за руку и сказала, вопросительно заглянув в глаза:

– Может быть, посидишь со мной, а то мне что-то скучно.

– Как скажете, мадам, – ответил мой послушный слуга и, притаив из каюты стул, поставил его напротив меня.

– Налей себе. – Я протянула ему бокал, я уже была немного пьяна от шампанского, от океана, от него.

– Спасибо, мадам. – Он благодарно кивнул.

Мы сидели друг против друга, и он пожирал меня глазами.

– Я так люблю на тебя смотреть, – сказал он, хотя мог бы и не говорить.

– Я знаю, – согласилась я.

– Разденься. Только не спеши. – Он забывал добавлять «мадам», но я простила его.

– Я не спешу.

Я тоже не отрывала от него взгляда, мне самой нравилось смотреть на него, такого непривычного сейчас. Он отчаянно хотел меня, этот едва знакомый мне юноша, его желание было почти осязаемо, оно безумно возбуждало меня.

– Сначала туфли, можно? – спросила я.

Он кивнул.

– Только заложу ногу за ногу. Я хочу видеть твои ноги.

– Ты сладострастник, – сказала я, но слова не имели больше никакого значения. Я положила одну ногу на другую, и с легким усилием освободила ступню, и провела пальцами по ноге, мне самой были приятны ее неровности, отточенные плотным сжатием колготок. Он потер подбородок и так и оставил на нем ладонь.

– Мне нравятся твои ноги. Жалко, ты не в чулках.

– Мне неудобно в чулках, – оправдалась я, сама сожалея об оплошности. – В следующий раз, ладно?

– Следующего раза не будет, – загадочно произнес он, все еще потирая подбородок, но я знала, о чем он.

– Что теперь? – Именно в очередности его желаний и заключалась томительность.

– Теперь колготки, – ответил он и опустил ладонь вниз кшее. Я увидела его слегка прикушенный рот.

– Колготки? – переспросила я. Мне хотелось повторять его приказания и только потом подчиняться.

Он не ответил, а только кивнул. Я приподнялась на кресле и, откинув юбку, так что она задралась и сзади, и спереди, высвободила живот и бедра.

– Поставь ноги на край кресла, – приказал этот немного похожий на Стива человек.

Я любила слушаться его в такие моменты. Я снова отбросила юбку, стыдливо загораживающую полосу живота, но

тело мое не боялось стыда, оно хотело его, именно из-за него я была такой разгоряченной сейчас. Я чуть откинулась спиной и поставила ноги именно так, как он хотел, я знала, как он хотел, коленками остро вверх, слегка разведя их в стороны. От неловкой позы я пошатнулась, но удержала равновесие, руки мои теперь трогали гладкую скользящую кожу от колен к бедрам, где она обидно прерывалась материей ненужного сейчас белья.

– Тебе нравится, когда я себя трогаю? – спросила я не потому, что ждала и так понятного ответа, мне нужен был его голос.

– Нравится.

Я не ошиблась, его голос надломился и тоже звучал незнакомо.

– Погладь изнутри, – приказал он, и я закрыла глаза, я знала, изнутри будет еще нежнее и еще доверчивей.

Пальцы мои соскользнули на внутреннюю часть бедер, я попыталась открыть глаза, но у меня не получилось. Я знала, мне нельзя забываться, пока нельзя, но уже не понимала, чьи руки меня ласкают, я забыла, что они мои.

– Нет, не трогай, еще рано. – Надорванный голос приблизился, казалось, вплотную, и я отдернула пальцы. – Черт, как я люблю смотреть на тебя.

– Только смотреть? – Я все же приоткрыла веки.

– Не только.

– Я хочу снять, – попросила я, дотрагиваясь до трусиков.

Он кивнул. Мне показалось, что он хотел что-то сказать, но передумал.

– Ты мне pomoжешь?

Мне было необходимо, чтобы он оказался рядом. Мне уже не хватало моих рук.

– Нет, ты сама.

– Мне мало твоего взгляда. Мне нужен весь ты, – призналась я.

– Потерпи. Ты ведь любишь терпеть.

Я не для него, я только для себя прошептала:

– Люблю.

Медлительность, томящая медлительность, вот что я люблю, медлительность пытки всегда сводит на нет примитивность мгновенной боли.

– А когда я подойду, – он начал без предупреждения, – я сяду на пол у твоих ног и сильно их разведу, и ты уже будешь ждать меня, раскрытая, доступная. Ты склонишься надо мной, твои глаза будут широко открыты, и будешь смотреть на то, как смотрю я. Твой рот приоткроется, и я снизу увижу, как движется, вздрагивая, кончик твоего языка. Ты подумаешь, что я поцелую, но я даже не дотронусь до тебя.

Он мог и не подходить, я все равно испытывала каждое его слово. Мои ноги уже ах как были сдавлены его руками, до боли, до синяков, я уже ловила низом живота его дыхание, меня еще больше раздражала нелепость сковывающей юбки, она мешала его рукам, не пускала их в меня, раздав-

ливающих, наказывающих.

Я не выдержала. Я знала, он именно этого и хочет, чтобы я не выдержала, и, не снимая, я отодвинула перешеек материи между ног и, удерживая желаящий вернуться на место шелк, двумя пальцами раскрыла себя до предела, а третьим провела снизу вверх, ежась спиной, шеей, мутнея глазами, удивляясь, как же все мокро, тепло и пугающе незащищенно.

– Я вся мокрая, – сказала я на сбивающемся дыхании. Я почему-то стала нервничать.

– Я знаю. – Он тоже дышал тяжело. – Посмотри вниз.

Я уже привыкла его слушаться и посмотрела – пальцы перехватывали и обнажали, то безнадежно теряясь внутри, то всплывая, отрезвляя накрашенными, еще более красными, чем все вокруг, ногтями.

– Я не могу. – Я почти молила. – Я лучше буду смотреть на тебя. – Хотя и это не было спасением. – Расскажи, что будет потом? Что ты будешь делать потом?

– Сначала я проведу пальцем по твоему рту, и ты всосешь его и смочишь языком, а потом не захочешь его выпускать, ты постарайся удержать его, но не сможешь. И я дотронусь внизу, у самого пересечения, нежно, слегка, лишь обводя...

– Там все мокро, – перебила я, запоздав.

Мой палец двигался за его рассказом, а за ним двигался его взгляд, а за его взглядом мой, и бог знает, что еще было подключено и сплетено в сеть без начала и без конца.

– Я знаю, я вижу. Но это разные влаги, они уживаются

вместе...

– А дальше? – Я хотела дальше.

– Обведя так несколько раз, я чуть-чуть нажму сверху, вдавливая...

– Я не хочу чуть-чуть, нажми сильно, сильнее, как я, нажми, как я сама.

Я действительно не жалела себя, пальцы мои пытались раздавить неподдающуюся плоть, мне было больно, но при чем тут боль?

– Нет. Я, наоборот, буду мягко, тягуче, чтобы ты ждала. А потом...

– Что потом?

– А потом я утоплю его в тебе и буду смотреть, как он взрезает мякоть. И все внутри будет ласкаться и просить ласки и сомкнется у самого основания. Ты захочешь заглотить его всего и растворить, но он будет трогать все далекие части, неожиданно и сильно трогать, и ты подашься бедрами вперед и попытаешься получить большего, но большего не будет, и ты отступишь, чтобы попытаться еще раз, и снова подашься вперед.

Я уже давно именно так и делала, бедра мои перестали слушаться и пусть несильно, но ходили в едва различимом ритме, всасывая мой палец, который так послушно следовал за его словами. Я перевела взгляд вниз, мне хотелось смотреть, как я жадно поглощаю все: и палец, и теперь еще взгляд, и, казалось, уже никогда не отдам их назад.

– Я хочу два. – Я снова просила его о простом, даже очень простом.

– Попроси. – Опять этот отстраненный, никому не принадлежащий голос с поволокой хрипа.

– Как? Как мне попросить?

– Как ты можешь?

– Ну, пожалуйста, ну прошу тебя, еще один, ну прошу, пусть их будет два, всего два, ведь это немного...

Я бормотала что-то, ах, как сводил меня с ума его взгляд. Все больше и больше, все сводил и сводил.

– А потом, – он наконец сжалился, – я добавлю второй, и ты должна будешь пропустить, но не захочешь сразу...

– Захочу... – Я была почти невменяема. Конечно, захочу, как я могу не захотеть, и я взламываю себя и пропускаю, и именно в принуждении и есть вся нега.

– Ты не захочешь, – он не обращал внимания на мои слова, – но я заставляю...

– Да, заставишь...

– Смотри на меня! – Я вздрогнула от его крика, видимо, я нечаянно закрыла глаза. – И буду расшатывать и пытаться вывернуть наружу.

Я снова смотрела на него, пытаюсь поймать взглядом его протяжные, бесконечно длинные глаза. Я больше не могла.

– Сними с себя все... – Я уже не просила, просьбы стали чужды мне. – Я хочу видеть тебя всего... как ты хочешь...

Стив чуть подался вперед.

– Если бы ты сейчас видела себя. Если бы только могла себя увидеть!

– Что? – Я не могла говорить длиннее, я задыхалась.

– Щеки пунцовые, глаза подернуты пеленой, рот искусанный, язык мечется по губам. Я обожаю смотреть на тебя. На твои раздвинутые ноги, твои движущиеся бедра, ты такая красивая сейчас, я люблю тебя, всю, всю тебя.

– Иди сюда, я больше не могу. – Я снова стала просить. Если бы было надо, я поползла бы сейчас к нему. – Ну сделай хоть что-нибудь.

– Подожди, потерпи немного.

Он сам выглядел не лучше моего, я видела его лицо, и руки, и то, как он расстегивал пуговицы на брюках. Он даже не успел спустить их, как они уже оказались откинуты, смяты, изничтожены, так оттуда выбило, выстрелило, будто разогнулась нескончаемая пружина.

– Ах, как я хочу к тебе! – Мой голос перешел в хрип, я не слышала себя, я не знала, что говорю. – Как я хочу взять его в руку, у самого начала, у основания и тереться щекой, лицом.

Я видела, как его рука начала слегка ходить там, где должна была находиться моя.

– Как я хочу впитывать его нежность, его силу, как я хочу тронуть его губами и целовать, вбирать в себя. – Мне показалось, он застонал.

У меня не хватало слов, я хотела многих, разных слов, но я не могла их вспомнить. Я видела только, что его рука

напряглась и усилила движение.

– Ты ведь знаешь, как я умею, как я могла бы... Ты ведь хочешь, чтобы я утопила его в себе? Я бы поглотила его всего, руками, ртом. Я была бы твоим придатком, его придатком, я так и осталась бы с ним навсегда...

Я уже не слышала, что именно выговариваю шальными губами, не знала, что там, внизу, мои руки делали с моим телом, что они там разрывали, волочили за собой. Я вообще, казалось, потеряла обычную земную чувствительность, он бы мог прижечь меня сейчас чем-нибудь раскаленно-железным, я бы не почувствовала все равно. Я знала только, что мне мало беспомощных моих слов, рук, беспомощных моих одиноких движений. Мне нужен был он, только он мог изменить и спасти.

– Сними верх, – шептал он уже откуда-то близко, но верха уже давно не было. Моя грудь податливо смялась под его ладонью.

– А юбка? – только и успела вспомнить я.

– А, черт с ней.

Голос был не его, чужой, сильный, злой. Потом сразу возникли его глаза, прямо надо мной, пугающе близко. Мне стало страшно от их растекающейся малокровной пустоты, но это продолжалось всего лишь мгновение, потому что он всосался в мой рот, подминая губы, кусая их до боли, проникая в легкие. Я, кажется, вскрикнула, почувствовав у самого входа горячее, обжигающее, живое прикосновение. Внут-

ри меня все онемело, либо в ожидании, либо в истоме, и я отвернулась, мне надо было освободить губы, чтобы сказать что-то важное:

– Насколько он все же лучше, чем пальцы.

– Чем лучше?

– Даже нельзя сравнивать. Он такой, – я задержалась, мне не хватало воздуха, – он горячий и живой, такой большой внутри, и так все... – Но больше не нашлось ни слов, ни дыхания.

Как он безумно медленно кружил во мне, проходя каждым поворотом лишь миллиметры, как я чутко откликалась, прислушивалась ожидая, замирала и расслабленно, благодарно подавалась навстречу. Как долго это все длилось, как нереально долго.

– Расскажи, – наконец я смогла хоть что-то сказать.

– Что рассказать?

– Не знаю. Что хочешь.

Его рука скользнула по моему лицу, и большой палец, тяжело ощупывая неровности щек, больно врезался в рот, легко смяв губы. Они поддались ему, и открылись, и сразу сковали, отгородили от мира. Если бы я могла, я бы всего его погрузила в себя, я бы приняла внутрь все его тело, я хотела бы быть разрезанной от шеи до ног и снова быть зашитой, но уже с ним внутри.

– Я хочу вшить тебя внутрь себя. – Я все же смогла выговорить, а потом попросила: – Расскажи.

– Ты моя милая. Я люблю любить тебя! Я люблю быть медленным в тебе. Вот, смотри, я чуть двинусь влево, – я ждала, и он не обманул, – а вот теперь поворот, а теперь я отступаю, а теперь... Ах, как ты громко стонешь... А вот так, – он что-то сделал, но я уже не смогла разобрать что, – а теперь я не ударю, а вдавлю, медленно, но сильно вдавлю. – Тело его напрыглось, наверное, я снова застонала.

– Скажи еще. Мне кажется, из меня сочится жидкость, я просто чувствую, как со стенок стекает сок.

– Я знаю, я живу этим соком, я им кормлюсь, слизываю, смазываю свое тело, я...

– Еще, еще...

Но здесь он сделал какое-то движение, бьющее, пробивающее насквозь, и эхо его застряло у меня в легких. Я ясно слышала, как он выкрикнул «так», и мое тело сразу стало мокрым, руки, грудь, шея, и я оторвалась от поверхности кресла, но только на мгновение, потому что потом упала, обмякшая, раздавленная, неживая...

Прошло минут пять, не больше. Я поднялась, меня все еще качало, мне ничего не надо было снимать с себя, и я, как была, потная, растерзанная, горячая, подошла к краю лодки и, перешагнув через низкие поручни, прыгнула в воду. Сначала я испугалась, я думала, что сразу утону, настолько во мне не осталось сил, но холодная свежесть воды так врезалась в меня, что силы вдруг появились из какого-то, види-

мо неисчерпаемого, резерва, впрочем, это были силы другой природы. Я отплыла немного и легла на спину, яхта со спущенным парусом покачивалась рядом, как бы тоже отдыхая в бездействии, наслаждаясь вместе со мной. Потом я увидела Стива, он сидел на палубе, на самом краю, спустив ноги вниз к воде, вид у него тоже был весьма помятый, но счастливый.

– Юнга, готовьте обед, ваша пассажирка проголодалась, – крикнула я ему снизу.

– Я не юнга, меня повысили, я уже боцман, – прокричал он в ответ.

– Кто повысил-то? – спросила я смеясь, отплеываясь от захлестнувшей воды.

– Ты и повысила. Разве нет?

– Что до меня, так ты всегда капитан, вернее адмирал. Адмирал, – повторила я, – готовьте обед. – Я перевернулась и поплыла, мне захотелось движения.

После обеда я почувствовала себя немного утомленной, со мной всегда так, когда много солнца и воздуха. Я спустилась в каюту и, включив радиоприемник, прилегла на кушетку. Передавали классическую музыку, фортепьянный концерт, и музыка совместно со слабой, ритмичной качкой ублажали меня, и я заснула, легко и безмятежно. Вскоре я пробудилась, но ненадолго, я услышала незнакомый мужской голос, я не поняла чей, а потом догадалась: музыка закончилась, и передавали новости.

– Стив, – позвала я, – Стив. – Заскрипела дверь каюты, я

увидела его лицо. — Стив, погода портится, только что прогноз передали.

— Ничего, — ответил он, — ерунда.

— Может, поплывем домой, сказали, гроза будет. Это, наверное, плохо, гроза в океане.

— Да нет, я же говорю, ерунда, покрапает немного и перестанет. Спи, ты так сладко спишь, как ребенок.

— Хорошо, — сказала я, я всегда верила ему, и еще мне хотелось спать. Я протянула руку и выключила радио, а потом снова закрыла глаза.

Проснувшись я от тяжелого скрипа, казалось, что все разваливается, но не сразу, а медленно, часть уже развалилась, а часть еще продолжает разваливаться. Было очень темно, я ничего не смогла разобрать и, лишь придя в себя, догадалась, что уже, наверное, ночь, я просто долго спала. Но почему же тогда рядом нет Стива и откуда этот окружающий меня треск, почему все прыгает и грохочет вокруг? Я попыталась встать, это оказалось непросто, пол уклонился, убегая от меня, и тут я все поняла.

Я поняла, что мы тонем. Я вдруг ощутила, что между мной и бесконечной, зловещей толщей океана ничего нет, лишь тонкая деревянная перегородка, которая тужится треща, но все равно вот сейчас не выдержит и рассыпется. Меня охватил страх, нет, не страх — ужас. Этот океан, еще недавно такой дружелюбный, вдруг оказался пустынным, и хищным, и еще беспощадным в своей животной злобе. Схватив-

шись за кушетку, она единственная не скользила, видно, была прикручена к полу, я кое-как поднялась на ноги, а потом, шатаясь, держась за стенки, добралась до выхода.

Я не сразу разобрала, что происходит на палубе. Сначала из крошечной темноты проступили очертания мачты, она моталась, голая, как маятник, нарезая гудящий воздух кусками, а потом сразу над ней что-то нависло, что-то совсем живое, и я сжалась. Уши забило нарастающим рокотом, нависшая груда блеснула огромной белой холкой, она наливалась, загорая небо, оставляя нас, ничтожных, далеко внизу, а потом, угрюмо охнув, рухнула, обрушив вниз свою тяжесть.

Я ждала смерти, я успела подумать, что вот ведь как все глупо кончилось, несправедливо глупо, но тут лодка, сама, как спасающееся животное, отчаянно отпрыгнула в сторону; я отлетела назад и чуть не свалилась вниз, в каюту, но успела схватиться за перила лестницы и удержалась. Волна растворилась в темноте, видимо, раздавив другие, более мелкие волны, и стало чуть устойчивее, палуба все еще прогибалась, но я, петляя и приседая на дрожащих от напряжения ногах, смогла все же двигаться вперед. Сверху рушился шквал дождя, и все вокруг было загорожено его пеленой, я шла почти на ощупь, надеясь отыскать Стива, я отчетливо представила, что его больше нет, что его смыло, пока я спала, и первая, подлая мысль была: «Как я доберусь до берега сама?» Но я отогнала ее и позвала: «Стив, Стив», как будто мой голос можно было расслышать в этой все заглушающей какофонии

бури.

Мне удалось сделать еще несколько шагов, но больше я ничего не успела, передо мной взлетел нос лодки, отчетливо выступив из темноты, и в то же мгновение мои ноги провалились, и я, не найдя опоры, грохнулась на палубу и покадилась, пытаясь хотя бы за что-нибудь ухватиться. Мое тело билось о какие-то предметы, они наезжали и сильно врезались в меня, но я не чувствовала боли, мое тело разучилось ее различать, я отчаянно искала опору, судорожно цепляясь пальцами за доски настила. Я так и не нашла ее, но мне повезло, палуба немного выправилась, движение остановилось, я лежала на животе, разбросав руки, припав к скользким доскам, приходя в себя. Но я не могла дышать, мне надо было найти Стива, он мог быть ранен, нуждаться в моей помощи, и я, не рискуя встать, не доверяя больше ни палубе, ни ногам, уперлась коленями и на четвереньках, пригибаясь как можно ниже, поползла вперед.

В какой-то момент лодка накренилась набок, но я была готова: я тут же легла, распластав тело, прижав его к доскам палубы, я снова скользила, но теперь медленно. Я подняла глаза, я видела, как огромный черный предмет вот-вот наедет на меня и раздавит, и я поползла в сторону, я пыталась быстро, но быстро не получалось, и он все же проехал по мне вскользь, оцарапав бок и ногу. Потом все снова остановилось, и я узнала кресло, то самое тяжелое кресло, на котором я сидела днем, тут что-то сверкнуло в воздухе, как от сигнальной

ракеты, все осветилось, и я увидела Стива. Он сидел в кресле, чуть склонившись вперед. Я не могла подняться в полный рост, и встала на колени, и так, на коленях, больно ударяясь о доски, прошла эти несколько шагов, разделяющих нас, и обхватила его ноги руками, и притянулась, прижалась, как могла, ища защиты.

– Стив, Стив, – шептала я, – ты жив, мой любимый. Я тоже жива. Мне только страшно. – Я подняла глаза, казалось, он склонился ко мне, так близко находилось его лицо. Я вгляделась: оно было неподвижно. Застывшее, неподвижное лицо. – Стив, – тряхнула я его, – ты живой, что с тобой, Стив?

Он молчал, и мне стало жутко. Я поползла по нему вверх, цепляясь за его тело, подтягиваясь на руках. Теперь наши глаза разделяли лишь сантиметры.

– Стив, – я изо всех сил тряхнула его, – Стив, отвечай! – Я была в лихорадке, меня всю било.

– А, – вдруг сказал он, как бы оживая. – Что?

– Стив! – Я обхватила его за шею. Сверху на нас валились потоки воды, я слизывала ее с лица, она была пресная, значит, это был дождь. – Стив, ты жив, все в порядке, главное, что мы живы.

– Да, – сказал он, – мы живы, странно, да? – Это был пустой, безразличный голос, я отодвинулась и заглянула в его глаза, они находились очень близко, но они не смотрели на меня. Я вдруг поняла, он вообще никуда не смотрит, только в точку, прямо перед собой, как будто видит что-то, что не

вижу я.

– Стив! – крикнула я, и вместе с криком на него полетели брызги от моих волос, из моего рта. – Что с тобой? – Я тряхнула его за плечи. – Ты в шоке?

– Нет, – ответил он, расслабляя свой взгляд, переводя его на меня. – Все нормально. – Голос его звучал все также спокойно и невыразительно.

– Это шторм, Стив, да? Это шторм? – кричала я, мне было нужно, чтобы он заговорил со мной. Меня пугало его молчание.

– Да, это шторм, – согласился он.

– Но мы выживем, мы не утонем?

– Не знаю, – ответил он, смотря на меня так пристально, как будто увидел впервые. Он даже поднял руку и провел пальцами по моей щеке, как бы пробуя ее на ощупь; она была мокрая и очень холодная, его рука. – Мы можем утонуть. Мы, наверное, утонем. – Голос Стива не расставлял интонаций, как будто он говорил о чем-то абсолютно несущественном.

– Так давай что-нибудь делать! – взмолилась я. – Давай делать!

– Зачем? – Он даже поднял брови от удивления.

– Как зачем? Чтобы выжить!

– Зачем выживать? – спросил он, еще более удивляясь. И тут я поняла: он опять играет со мной, это еще одна очередная, идиотская игра. Но сейчас она была не смешна.

– Идиот! – закричала я и, сама не сознавая, со всего размаху ударила Стива наотмашь по щеке, сильно, так сильно, как только могла. – Выйди из своей идиотской прострации, приди в себя. Это не игра, я не играю.

Видимо, я сильно его ударила, он весь встряхнулся, глаза его налились, он схватил меня за голову двумя руками, так, что я не могла пошевелиться.

– Зачем выживать? Неужели ты не понимаешь, что так лучше всего? Для тебя, для меня! Неужели ты не понимаешь?

Я испуганно смотрела на него, переход был ошеломляющий – глаза его горели, голос звучал яростно, даже страстно:

– Для чего тебе надо жить? Дальше будет хуже, как ты не понимаешь? Тебе никогда уже не будет так хорошо, ты никогда не будешь так счастлива. И я тоже. Мы с тобой на вершине, понимаешь, на самой вершине, нам уже не подняться выше, выше ничего нет. Мы только можем скатываться вниз.

Брызги летели от него во все стороны. Мне показалось, что мы снова заскользили по палубе, я чувствовала, как горят трущиеся ссадины на коленях, но мне было все равно, я уже не боялась шторма. Я боялась его.

– Ты хочешь дожить до того времени, когда я разлюблю тебя, когда ты разлюбишь меня, когда мы станем безразличны друг к другу? Ты хочешь встречаться со мной и ничего не чувствовать, только жалкое равнодушие? Разве это не будет смертью для нас? Ты хочешь такой подлой, унижительной

смерти? Через год-два ты начнешь изменять мне или я тебе, и представь, как больно будет узнать об этом! Ты хочешь этой боли? Зачем?

Он был страшен сейчас, безумен, его глаза светились безумством даже в темноте, он задыхался, то ли вода заливала его и он не успевал сглатывать ее, давясь словами, то ли у него не хватало дыхания, но лицо его налилось и покраснело, и это было особенно страшно – красное, удушливое лицо, сочащееся от дождя, с прибитыми, прилипшими волосами. Наверное, я и сама выглядела не лучше, но я хотя бы была нормальной.

– Зачем нам все это? – Стив по-прежнему сжимал мою голову, придвигая мое лицо вплотную к своему, голос его сорвался на шепот, но все равно это был кричащий шепот. – Зачем стремиться к худшему? В твоей жизни ничего не будет лучшего, чем наша любовь, ты ведь сама знаешь это! Знаешь? – Я молчала. – И в моей тоже. Пойми, впереди только боль, все больше и больше боли, только разочарование, только потери. Зачем они? Не лучше ли остановить все на этом, на самом счастливом мгновении... навсегда остановить? И остаться в нем... пойми, мы останемся в нем навсегда!

Я не выдержала.

– Идиот! – закричала я, перебивая его воспаленный бред. – Прекрати нести чушь, я не собираюсь тебе изменять. Я люблю тебя, дурак, и я буду любить тебя. Почему должно быть хуже, будет только лучше, слышишь! Возьми себя в ру-

ки. Я хочу жить, и я хочу, чтобы ты жил, и мы будем счастливы, вместе, мы вдвоем. — Теперь я старалась говорить медленно, как разговаривают с ребенком, чтобы вселить в него свое спокойствие. — Мы будем любить друг друга всю жизнь, и, может быть, нам не будет лучше, но нам и не должно быть хуже. Понял? — Я выдержала паузу, он слушал меня — это было уже хорошо. — А теперь успокойся, и давай что-нибудь делать. И мы выживем, мы не утонем, ты ведь все умеешь, а я буду тебе помогать.

— Я спокоен, — перебил он меня, и я застыла в изумлении: его голос действительно сразу покрылся холодным безразличием, как будто в нем не было только что отчаяния и безумства. — Я абсолютно спокоен, — повторил он, рывком поднялся и, схватив меня в охапку, куда-то поволок.

Сначала я не поняла куда, а когда догадалась, стала отбиваться руками и ногами, они не доставали до пола, я была уверена, что он решил броситься со мной в воду. Нас швыряло в стороны, я ничего не видела, вода заливала лицо, рядом оказалась мачта, я оттолкнула Стива и ухитрилась обхватить ее руками. Но в этот момент что-то перехватило, стянуло мои кисти, так крепко, что я не смогла ими пошевелить. Все произошло так быстро, я не успела ничего сделать, только удивиться: откуда у него веревка? Стив посмотрел на меня удовлетворенно, как бы проверяя надежность своей работы. Оттого, что он молчал, и еще от своей совершенной беспомощности меня сразу пронзило ледяным холодом, переме-

шанным с ужасом.

– Что ты делаешь? – Я почти молила. – Зачем ты меня привязал, зачем? – От страха и от бессилия на меня накати-лась истерика.

– Ты так ничего и не поняла, – ответил он равнодушно. – Ты сама так хотела.

– Нет, Стив, нет, я так не хотела, – кричала я. – Я хочу быть с тобой, отпусти, развяжи мне руки. – Но его уже не было, он растаял в темноте.

Я боролась, я пыталась освободиться, я дергала, крутила скользкими кистями, пытаюсь вывернуться, но веревки держали меня, я пыталась дотянуться зубами, чтобы перегрызть их, но не могла, я только могла кружить вокруг мачты, больше ничего. А потом мне стало холодно и меня стало бить, как в лихорадке, и сил больше не осталось, даже ноги не держали меня, и я легла на палубу, только руки насильно обнимали мачту. Наверное, я забылась, холод и вода погрузили меня в спячку, сквозь которую я только чувствовала дрожь своего обессиленного тела.

Потом все кругом затрещало, и я полетела прямо в океан. Он бесился подо мной, и я падала в него, я уже почти ощутила, как он сомкнется над головой и какое это будет ужасное, ледяное чувство, но тут что-то сдавило, стянуло в руках, до страшной, разрывающей рези. Я взглянула наверх: мачта почти легла над поверхностью океана, и я висела, при-вязанная к ней руками, ноги мои повисли над водой метрах

в двух, не больше, порой край поднявшейся волны пытался схватить их и утащить вслед за собой. Так продолжалось несколько секунд, потом мачта стала медленно выпрямляться, и поверхность воды стала отдаляться от моих ног, еще одна волна постаралась лизнуть самый их кончик, но уже не смогла. Я снова оказалась на палубе и вдруг заметила то, чего не разглядела сразу: на мачте под шквалом ветра бился парус. Порывистый, нестойкий, еще только вбирающий в себя жизнь, но он жил. А потом я поняла, что лодка плывет. Она не болталась, как раньше, беспомощно в волнах, ожидая, что те раздавят ее, а плыла, быстро и уверенно, ее по-прежнему било и бросало, но она пробивалась сквозь толстую водяную стену.

Я стала оглядываться. Было все так же темно, я попыталась плечом смахнуть воду с глаз, и, мне показалось, я увидела вдалеке, за толщей темноты, на самой корме происходило движение, а потом фигура, я точно различила фигуру, сначала только очертания, а потом темнота выпустила ее всю целиком. Это был Стив, без сомнения он, кто же мог быть еще? Я видела, как быстро он двигался по палубе, иногда он упирался в борт ногами и, нависая, почти ложась над водой, за что-то тянул, я не видела каната, но я чувствовала напряжение в его ловком теле. Пару раз волна накрывала его, и я вскрикивала, но волна расступалась, лодка поднималась над поверхностью океана, и фигура Стива вновь выделялась над водой, и он спрыгивал вниз, в темноту палубы, и на секунду

терялся из виду, чтобы потом появиться вновь. Я смотрела на него не отрываясь, не потому даже, что от его движений зависела моя жизнь, я увлеклась его опасной игрой, затеянной на этот раз с океаном. «Наверное, я не разобралась, – подумала я. – Конечно, он не хотел, чтобы мы погибли, конечно, он просто разыгрывал меня. Пусть неумело, глупо, но разыгрывал».

Так продолжалось долго, я не знала сколько, но потом что-то изменилось, лодку все еще качало, но она уже не взлетала так высоко вверх и не падала так стремительно вниз. Меня перестало бросать по всему периметру мачты, и мои натертые руки были уже не так напряжены. Боль разрезала меня насквозь, но я терпела, я понимала, что худшее позади, шторм спадал.

Потом Стив подошел ко мне, с его одежды, с лица, с рук стекала вода, и, наверное, в ней была примесь пота. Он на самом деле выглядел усталым, но улыбался. «Все та же самая улыбка, – подумала я, – как прежде, как до этой страшной ночи, немного ерническая, дразнящая, шальная».

– Устала, замерзла? – спросил он участливо, и в голосе его звучала забота. – Ну ничего, скоро будем дома. – Он достал из кармана нож и перерезал связывающую мои руки веревку. Я просто рухнула на него.

– Ничего, – сказал он, – все позади, главное, что все обошлось. – И, заглянув мне в глаза, добавил, почти смеясь: – А ведь хорошо было. Такое не часто случается. Такое запом-

нится на всю жизнь.

Я смотрела на него – странного, непонятного для меня.

– Это была шутка ночью, розыгрыш? Ты разыгрывал меня, ты ведь знал, что мы не утонем?

Он улыбался мне в лицо, а потом притянул и поцеловал.

– Обидно, – сказал он, отпустив мои губы, – что мы не занялись любовью, времени не хватило. А жаль, было бы наверняка незабываемо.

Это своего рода ответ на мой вопрос, решила я.

– Ты все-таки сумасшедший, – сказала я, морщась от боли, пульсирующими волнами накрывающей тело.

– Хочешь сейчас? – спросил он, и я опять не поняла, шутит он или нет. Я покачала головой. – Я знаю, ты без сил. Я тоже устал, но скоро мы будем дома.

Мы так и стояли, Стив прижимал меня, не позволяя оторваться.

Я так никогда и не узнала, что произошло со Стивом в ту ночь, во время шторма – действительно ли он хотел нашей смерти или просто играл в очередную будоражащую его игру, игру со мной, с океаном, с жизнью. Я никогда больше не спрашивала его. К моему неведению примешивалась еще и благодарность, все же если бы не его умение и ловкость, мы бы навсегда остались в глуши океана. Но что-то изменилось во мне, даже помимо моей воли, и я больше никогда не поднялась на яхту.

Стив особенно не уговаривал меня, он понимал, и в течение следующих нескольких месяцев я оставалась ждать его в доме, пока он уходил в океан. Ночной шторм стал для него еще большей приманкой, он еще сильнее полюбил стихию, ее вызов и опасность, и я пыталась его удержать, но не могла. Через какое-то время мне надоело попусту сидеть в пустом доме в постоянном нервном ожидании, и однажды я осталась в городе готовиться к экзаменам, и Стив уехал один, а потом через пару недель уехал снова. Вскоре его одинокие океанские отлучки стали нормой.

Мне надоела ванна, слишком долго я лежу, тело размокло и не может больше впитывать ни тепла, ни влаги, а использованная, уставшая вода кажется теперь нейтральной и ненужной. Я встаю, как будто в первый раз обретаю свое тело, сбрасывая с него воду, составляя заново недвижимые части.

Мягкое полотенце напоминает, что не все состоит из воды, да и сам воздух больше не аморфный, в нем тревожащая, радостная свежесть. Мне пора гулять, я слышу, как заждавшийся лес зовет меня, и мне требуется всего двадцать минут, чтобы дать своему распаренному телу остыть и вжиться в воздух, привыкнуть к нему. Я одеваюсь и, захватив с собой книгу, выхожу наружу.

Лес и вправду, кажется, ждет меня, я давно опоздала на встречу, и он волнуется и размахивает возбужденными вет-

ками, будто хочет сказать, что подождал бы еще с полчаса, а потом ушел. Я смеюсь, я представляю, как он стал бы топтать всей своей тяжестью стволы-ног, таща за собой барахтающиеся внизу растопыренные кустарники, корни, траву.

— Да куда бы ты не ушел, — говорю я вслух, — ждал бы как миленький.

Я нахожу поваленную березу, она гибко прогибается подо мной, я так и сижу, лишь иногда отталкиваясь от земли ногами, раскачиваясь. Книга лежит на коленях, но я не спешу открывать ее, мне хочется еще немного послушать лес, подышать им. Я сижу, замерев, минуты три-четыре, а потом не выдерживаю и начинаю читать.

Не так давно я задумался над вопросом о соблазнении. Мне стало интересно, в чем же, собственно, секрет успешного обольщения, какие именно качества делают обычного ловеласа неотразимым? Чем он берет: внешностью, манерами, умением говорить? Мне захотелось раскрыть суть самого процесса. Конечно, я понимал, что в реальной жизни абсолютно успешных соблазнительей не бывает – ни один человек не может нравиться всем. Но меня не интересовала реальная жизнь, вопрос был скорее академическим.

Я перебирал имена всех известных в истории соблазнительей и, конечно же, остановился на Дон Жуане, или, как его порой звали, Дон Гуане, безусловно самом известном и самом удачливом из всех соблазнительей. Однако меня заинтересовало не историческое лицо, а его легендарный, литературный образ. Именно он, подумал я, является наиболее показательным примером идеального совратителя. В разные времена, на протяжении столетий, кто о нем только не писал: и сами испанцы, и французы, и русские, и англичане, да и многие прочие. Так что образ изучен со всех сторон, во всех культурных и временных плоскостях, что гарантирует объективность.

Задача поставлена, я пошел в библиотеку, нашел десятка два книг о Дон Жуане и в течение пары месяцев тщательно

их штудировал. Мне было интересно. Это был тот редкий случай, когда один и тот же герой вдохновил многих непохожих, одаренных авторов, так что и внешне, и по характеру Дон Жуан предстал передо мной в разных, так сказать, версиях, в зависимости от произведения.

Конечно, за ним часто подозревалась импотенция, но я и прежде слышал о «патологии Дон Жуана». Суть ее, как я понимаю, заключается в том, что Дон Жуан, будучи не в силах удовлетворить ни одну женщину, доводил ее до сверхвозбужденного состояния, но боясь, что окажется несостоятельным, он, чтобы не осрамиться, исчезал, сославшись на ревнивого мужа, грозного отца или на любую другую выдуманную опасность. В результате его возлюбленная так и оставалась неудовлетворенной (причем по вине обстоятельств, а не по вине Дон Жуана), что, видимо, сильнее притягивает женщину к мужчине, хотя бы потому, что создает в ней ощущение не только физической, но и психологической незавершенности. А незавершенность, в свою очередь, рождает в женщине чувство ответственности, даже вины перед любимым, который так и не насладился ею, так и не оценил ее чувства, ее умения и порыва. Поэтому, не успев распознать несостоятельность Дон Жуана, его возлюбленные жаждали и молили о новой встрече, мечтая о нем и фантазируя на его счет. Он же нового шанса не давал, потому как тогда они заподозрили бы закономерность, а перемещался к следующей жертве. И все повторялось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.